ХРЕСТОМАТИЯ ШКОЛЬНИКА

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ



Ребятам о зверятах: Рассказы русских писателей

Константин Дмитриевич Ушинский, Лев Николаевич Толстой, Сергей Тимофеевич Аксаков, Иван Сергеевич Тургенев, Модест Николаевич Богданов, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Константин Алексеевич Коровин, Антон Павлович Чехов, Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Михаил Михайлович Пришвин, Виталий Валентинович Бианки, Борис Степанович Житков, Николай Иванович Сладков, Константин Георгиевич Паустовский, Геннадий Яковлевич Снегирев, Юрий Иосифович Коваль, Виктор Петрович Астафьев

Аннотация
Ребятам о зверятах: Рассказы русских писателей
Чудо, которое всегда рядом

Константин Ушинский
- Утренние лучи
- Играющие собаки
- Ученый медведь
- Орел и кошка

Лев Толстой
- Лев и собачка
- Булька

Сергей Аксаков
- Сурка
- Гнездо
- Грачи прилетели

Иван Тургенев
- Воробей

Модест Богданов
- Белка
- Скворец

Дмитрий Мамин-Сибиряк
- Емеля-охотник
- Богач и Еремка

Константин Коровин
- Белка

Антон Чехов
- Белолобый

Иван Соколов-Микитов
- Заяц

Журавль-летчик
Михаил Пришвин
Беличья память
Зверь бурундук
Рождение Кастрюльки
Синий лапоть
Журка
«Изобретатель»
Хромка
О чем шепчутся раки
Виталий Бианки
Музыкант
Лупленый бочок
Подкидыш
Плавунчик
Борис Житков
Беспризорная кошка
Николай Сладков
Хитрющий зайчишка
Серьезная птица
Синичка необыкновенная
Новый голосок
Карлуха
Константин Паустовский
Заячьи лапы
Барсучий нос

Резиновая лодка
Собрание чудес
Кот-ворюга
Грач в троллейбусе
Геннадий Снегирев
Куколка
Ука
Бабочка на снегу
Ночные колокольчики
Бобренок
Белёк
Юрий Коваль
Сороки
Про чайку и чибиса
Виктор Астафьев
Стрижонок Скрип
Милаха и кот Громило
Зачем я убил коростеля?

Аннотация

В этой книге вы найдете рассказы о животных, написанные самыми разными авторами. Есть среди них такие, кто писал только для детей: К. Д. Ушинский, Н. И. Сладков, Е. И. Чарушин. Есть и такие, как, например, Л. Н. Толстой, К. Г. Паустовский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, кто творил больше для взрослых. Прочтете вы и рассказы писателей, посвященные в основном природе, — М. М. Пришвина, В. В. Бианки и тех, кого больше всего интересует человек, — И. С. Тургенева, А. П. Чехова, В. П. Астафьева. Но все писатели, чьи произведения помещены в этом сборнике, передают нам свою любовь к животным. А любить по-настоящему можно только то, что хорошо знаешь.

Ребятам о зверятах: Рассказы русских писателей

Чудо, которое всегда рядом

Этот мир прекрасный и удивительный. Кто бы что ни говорил. И совсем неважно, какая погода за окном — светит ли солнце или бушует ненастье. Можно надеть солнечные очки или взять зонтик и принять каждый лучик и каждую капельку дождя как бесценный подарок. Как это делают те, у кого никогда не было и не будет ни солнечных очков, ни зонтика. Догадываешься, о ком я? Выгляни в окно: соседский кот опять напроказничал, а воробьи устроили купальню из лужи во дворе? Похоже, им все равно, что дождь идет уже неделю — им это только в радость?

А что если пойти в лес? Поверь, там можно сделать гораздо больше интересных наблюдений. Надо просто быть внимательным и чутким — тогда лесной мир поделится с тобой самым сокровенным, откроет свои секреты и даже позволит рассказать о них друзьям. По-

пробуй записать свои впечатления, а потом сравни с тем, что заметили и узнали о жизни в лесу в самое разное время настоящие писатели. И наша книга тебе в этом поможет.

Мы собрали в ней рассказы о животных, их удивительной жизни, повадках и характерах. Об их необыкновенной дружбе друг с другом (Д. Мамин-Сибиряк «Богач и Еремка», Л. Толстой «Лев и собачка»). О верности и преданности человеку (К. Коровин «Белка»), доверчивости к людям и праве на независимость от них.

Звери и птицы живут по своим законам, которые для нас непривычны, а иногда бывают и вовсе непонятны. Но этот мир устроен так, что нет в нем ничего лишнего, неправильного и необъяснимого. Птицы летят на юг, преодолевая огромные расстояния, но весной всегда возвращаются в родные края. Белки делают запасы на зиму и с необычайной легкостью находят их под снежным одеялом. Природа позаботилась о том, чтобы звери понимали друг друга без слов и могли предупреждать об опасности. Могли

быть умнее и хитрее нас в своем желании спастись (М. Пришвин «О чем шепчутся раки») и спасти свое потомство. Птенцы, бобрята, щенята любят своих родителей и не хотят с ними разлучаться. А если такое происходит, расстраиваются до слез (Г. Снегирев «Белёк»). Как и ты.

Герои рассказов, с которыми ты вскоре познакомишься, зачастую — бывалые охотники. Но и они иногда робеют перед простотой и мудростью природы. Человек перестает быть охотником, если обязан жизнью тонкому чутью животного (К. Паустовский «Заячьи лапы»). Он проникается бесконечной любовью ко всему живому, сочувствует и сожалеет о содеянном, долго и справедливо укоряет себя (В. Астафьев «Зачем я убил коростеля?») и уже не может поднять ружье.

Помни о том, как необоснованно высокомерен бывает человек, полагая, что все в его власти, пытаясь подчинить себе тех, кто чаще бывает мудрее и добрее его (К. Ушинский «Ученый медведь»). Помни, что дружба начинается с искренней улыбки. Подружиться можно только,

когда сердце твое открыто. Только тогда природа посвятит в свои тайны, поможет, подарит необычайные превращения (Г. Снегирев «Куколка»).

Можно подружиться даже с соседским котом. Сделать из лютого врага своего верного помощника и защитника. Надо просто найти к нему подход, научиться говорить на одном языке. Читай, как это сделали герои рассказов К. Паустовского «Кот-ворюга», В. Астафьева «Милаха и кот Громило», Б. Житкова «Беспризорная кошка».

Звери и птицы помогают сблизиться и людям. Сначала — желанием показать свои знания о живой природе и просто похвалиться ими, потом — умением дать верный совет, а после — бесспорным признанием совершенства сотворенного природой (К. Паустовский «Грач в троллейбусе»).

Перелистывая страницы, ты не просто узнаешь много нового, ты станешь иначе видеть все, что каждый день (хочешь ты того или нет, замечаешь или не обращаешь внимания) происходит вокруг тебя. Мир станет ярче, ближе и понятней. Как здорово вдыхать полной грудью и чувствовать свою даже самую маленькую причастность к чуду, которое всегда рядом! Всегда было, есть и будет. Не проходи мимо!

Валерия Славина

Константин Ушинский

Утренние лучи

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи — будить землю.

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно!»

Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак.

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: «Ку-ку-реку!» Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать.

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из восковой кельи, села на окошечко, расправила крылья и — зум-зум-зум! Полетела собирать медок с душистых цветов.

Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю: режет ему прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул.

Играющие собаки

Володя стоял у окна и смотрел на улицу, где грелась на солнышке большая собака, Полкан.

К Полкану подбежал маленький Мопс и стал на него кидаться и лаять: хватал его зубами за огромные лапы, за морду и, казалось, очень надоедал большой и угрюмой собаке.

— Погоди-ка, вот она тебе задаст! — сказал Володя. — Проучит она тебя.

Но Мопс не переставал играть, а Полкан смотрел на него очень благосклонно.

— Видишь ли, — сказал Володе отец. — Полкан добрее тебя. Когда с тобою начнут играть твои маленькие братья и сестры, то непременно дело кончится тем, что ты их приколотишь. Полкан же знает, что большому и сильному стыдно обижать маленьких и слабых.

Ученый медведь

— Дети! Дети! — кричала няня. — Идите медведя смотреть.

Выбежали дети на крыльцо, а там уже много народу собралось. Нижегородский мужик, с большим колом в руках, держит на цепи медведя, а мальчик приготовился в барабан бить.

— А ну-ка, Миша, — говорит нижегородец, дергая медведя цепью, — встань, подымись, с боку на бок перевались, честным господам поклонись и молодкам покажись.

Заревел медведь, нехотя поднялся на задние лапы, с ноги на ногу переваливается, направо, налево раскланивается.

— А ну-ка, Мишенька, — продолжает нижегородец, — покажи, как малые ребятишки горох воруют: где сухо — на брюхе; а мокренько — на коленочках.

И пополз Мишка: на брюхо припадает, лапой загребает, будто горох дергает.

— А ну-ка, Мишенька, покажи, как бабы на работу идут.

Идет медведь, нейдет; назад оглядывается, лапой за ухом скребет.

Несколько раз медведь показывал досаду, ревел, не хотел вставать; но железное кольцо цепи, продетое в губу, и кол в руках хозяина заставляли бедного зверя повиноваться. Когда медведь переделал все свои штуки, нижегородец сказал:

— А ну-ка, Миша, теперича с ноги на ногу перевались, честным господам поклонись, да не ленись, да пониже поклонись! Потешь господ и за шапку берись: хлеб положат, так съешь, а деньги, так ко мне вернись.

И пошел медведь, с шапкой в передних лапах, обходить зрителей. Дети положили гривенник; но им было жаль бедного Миши: из губы, продетой кольцом, сочилась кровь.

Орел и кошка

За деревней весело играла кошка со своими котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья была очень счастлива. Вдруг, откуда ни возьмись — огромный степной орел: как молния, спустился он с вышины и схватил одного котенка. Но не успел еще орел подняться, как мать вцепилась уже в него. Хищник бросил котенка и схватился со старой кошкой. Закипела битва на смерть.

Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и выклевал ей один глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое крыло.

Теперь уже победа стала клониться на сторону кошки; но орел все еще был очень силен, а кошка уже устала; однако же она собрала свои последние силы, сделала ловкий прыжок и повалила орла на землю. В ту же минуту откусила она ему голову и, забыв свои собственные раны, принялась облизывать своего израненного котенка.

Лев Толстой

Лев и собачка

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей: он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал ее.

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.

Лев тронул ее лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивая голову со стороны на сторону, и не трогал ее.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него, положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мертвую собачонку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет свое горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; лев тотчас разорвал ее на куски. Потом он обнял своими лапами мертвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

Булька

(Рассказ офицера)

У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые.

У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней и верхние зубы заходят за нижние; но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Лицо у Бульки было широкое; глаза большие, черные и блестящие; и зубы и клыки белые всегда торчали наружу. Он был похож на арапа. Булька был смирный и не кусался, но он был очень силен и цепок. Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь, то стиснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как клещука, нельзя никак оторвать.

Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать и повалился на голову, чтобы раздавить Бульку; но Булька до тех пор на нем держался, пока его не отлили

холодной водой.

Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я ехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и ушел от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться в другую перекладную, как вдруг увидел, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был Булька в своем медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал его назад, глотая слюни, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевал дышать, бока его так и прыгали. Он поворачивался с боку на бок и постукивал хвостом о землю.

Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна и прямо, по моему следу, поскакал по дороге и проскакал так верст двадцать в самый жар.

Сергей Аксаков

Сурка

Раз, сидя на окошке, услышал я какой-то жалобный визг в саду.

Мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтоб послали посмотреть, кто это плачет, что «верно, кому-нибудь больно», мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого щенка, который, весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька.

Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем.

Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучила его лакать.

С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой.

Его назвали Суркой.

Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в

комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

Гнездо

Заметив гнездо какой-нибудь птички, чаще всего зорьки или горихвостки, мы всякий раз ходили смотреть, как мать сидит на яйцах.

Иногда по неосторожности мы спугивали ее с гнезда и тогда, бережно раздвинув колючие ветки барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие-маленькие, пестренькие яички.

Случалось иногда, что мать, наскучив нашим любопытством, бросала гнездо; тогда мы, увидя, что несколько дней птички в гнезде нет и что она не покрикивает и не вертится около нас, как то всегда бывало, доставали яички или все гнездо и уносили к себе в комнату, считая, что мы законные владельцы жилища, оставленного матерью.

Когда же птичка благополучно, несмотря на наши помехи, высиживала свои яички и мы вдруг находили вместо них голеньких детенышей, с жалобным тихим писком беспрестанно разевающих огромные рты, видели, как мать прилетала и кормила их мушками и червяками… Боже мой, какая была у нас радость!

Мы не переставали следить, как маленькие

птички росли, перились и наконец покидали свое гнездо.

Грачи прилетели

Прибавились значительно дни. Ярче, прямее стали солнечные лучи, и сильно пригревает в полдень. Потемнела полосами белая пелена снега, и почернели дороги. Вода показалась на улицах…

Прилетная птица начинает понемногу показываться. Грачи, губители высоких старых дерев, красоты садов и парков, прилетели первые и заняли свои обыкновенные летние квартиры, самые лучшие березовые и осиновые рощи. Уже начали заботливые хозяева оправлять свои старые гнезда новыми материалами, ломая для того крепкими беловатыми носами верхние побеги древесных ветвей. Далеко слышен их громкий, докучный крик, когда ввечеру, после дневных трудов, рассядутся они всем собором, всегда попарно, и как будто начнут совещаться о будущем житье-бытье.

Иван Тургенев

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи — и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и, весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти.

Он кинулся спасать, он заслонил собою свое детище… но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился, благоговея.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Модест Богданов

Белка

Лопаются почки на деревьях, вылезает из земли молодая травка. Зеленеет лес с головы до пяток. Сотнями, тысячами прилетают птички с юга. Песни их льются раскатами в лесной чаще. Все ожило, все проснулось, все вылезло наружу; кипучая деятельность идет в лесу. Кто отъедается после зимней голодовки, иной поет целый день от радости. Другие хлопочут уже над гнездами для своей будущей семьи. Отставать ли белочке от лесного народа? Поела она свежих листочков и принялась за гнездо. И какое гнездо! Вы диву дадитесь, если найдете его. Из сухих прутиков высоко на дереве, на ветвях около ствола, она смастерит настоящий домик с полом, стенами и крышей. Сбоку сделает входную дверь, а над ней пристроит навес, чтобы дождик не попадал в горенку. Вместо ковров она настелет внутри мохом и лишаями, чтобы было мягко и тепло ее деткам.

В старых же лиственных лесах, в столетних дубах, липах и осинах, вязах так много дупл, что белочке нечего и трудиться строить домик, и она преспокойно поселяется в этих дуплах.

Вскоре у белочки заводится и семья, в ее гнез-

дышке от четырех — семи крошечных слепых бельчаток. Белочка очень нежная мать и усердно кормит их молочком. Пройдет дней восемь, у бельчаток откроются глазки, тельце их обрастет шерстью, но бедняжки еще очень слабы и беспомощны. Однако пройдет еще какая-нибудь неделя, они уже значительно выросли, окрепли и начинают выглядывать из гнезда. Что это за милочки, вы представить себе не можете! Рыженькая шерстка их так и блестит. Хвостик еще не распушился как следует. Вот в это-то время их надо достать, если вы хотите, чтобы у вас были совсем ручные белки. В это время они еще доверчивы и неопытны, к самому злому врагу они относятся, как к другу, а потому приручить их в таком возрасте ничего нет легче. Пройдет еще недельки две, характер бельчат совсем изменится. Они сделаются недоверчивыми, пугливыми; при малейшей опасности быстро прячутся в свое гнездо. Теперь их поймать и приручить гораздо труднее. Старая белочка растолковала уже им, кого надо бояться. Наступил июнь месяц, в лесной траве закраснели ягодки земляники, клубники; белочка сводит, осторожно сводит своих деток с дерева, ведет полакомиться ягодами и молодыми грибками. Наедятся бельчатки и снова марш

на дерево. Там им привольно и покойно. Густая листва скрывает их от глаз врагов. Сытые бельчата заводят игры, гоняются друг за другом по веткам и возятся, словно малые дети. Время, однако, идет; бельчата растут, становятся белками; мать давно покинула их, зная, что ее заботы им уже не нужны. У нее новая семья, новые хлопоты. Лето идет к концу, а на смену ему является осень. Легкими утренничками она напоминает всему живому, что пора подумать о зиме, что пора собирать запасы пищи, чтобы скоротать ее или запастись теплой спальной.

Немного в лесу таких запасливых животных, как белочка. Уже в июле она принимается за сушку грибов. Если вы любите собирать грибы и когда-нибудь поедете за ними в бор, обратите внимание на сосны. Вы увидите странную штуку. Высоко наверху, на тоненьких обломанных сучочках сосновых ветвей воткнуты грибы. Стволы сосен так гладки, что человеку трудно залезть туда; смею вас уверить, что это проделка белочки. Это она сушит грибы на зиму, зная, что они не раз пригодятся ей.

А когда поспеют орехи, белки усердно снуют под орешниками и собирают самые спелые, уже упавшие орехи. Предварительно белка отыщет

какое-нибудь дупло или выкопает норку между корнями деревьев, а то из прутиков устроит на ветвях кладовую и туда натаскает орехов иногда до 20–30 фунтов. Находка такой кладовой почитается у крестьян особенным счастьем, потому что здесь собран отборный орех, самый спелый. Белка ни за что не спрячет туда орех с свищом или незрелый.

В Сибири она делает такие же запасы из кедровых орехов и тоже из самых лучших.

Заботливость белки и ее ум при сборе этих запасов просто изумительны. Если в какой-нибудь местности неурожай на орехи, грибы, желуди, на семена сосны и ели, то белки оставляют свои родные леса и пускаются на чужбину целыми стадами. Они переплывают реки и озера, перебегают поля, встречающиеся на пути, путешествуют по крышам домов, если попадется город, и идут до тех мест, где есть и лес и пища, где можно скоротать суровую зиму.

Однако довольно. Я рассказал вам, что мог, о жизни нашей любимки; но это далеко не все. Жизнь белочки полна самых разнообразных приключений, и веселых и печальных. Если вам интересно знать их, идите в зеленый лес, там нет беличьего колеса, которое в конце концов

наводит уныние, там белочка вольный житель, веселый и довольный, умный и ловкий, а не тот несчастный пленник, который вертится в колесе вашей клетки. Поверьте мне, что наступит время, когда люди будут охранять белочку для собственной пользы, будут строить ей домики и кормить ее зимой, чтоб пользоваться теплой шубкой.

Скворец

Так же, как ласточку, любит русский человек скворца, или скворушку. Красивый, блестящий, желтоносый скворушка действительно может привлечь к себе внимание. Такого болтуна и весельчака, пожалуй, не найдешь между нашими птицами. Зато ему и почет; зато добрый хозяин считает долгом повесить на шесте у ворот дупло или под крышей, на передней стороне избы, дощатый домик-скворечницу. Иногда деревенский искусник плотник разукрасит скворечницу узорчатыми карнизиками и приснастит крылечко.

Ранней весной, как только зашумит вода крохотными ручейками, вскоре после прилета грачей и жаворонков, в теплый, яркий полдень, несутся в вышине стада уток, вереницы гусей, а между ними мелькают стайки черных птичек. Полет этих стаек до того характерен, что их далеко узнаешь, — это летят скворцы. То стайка рассыплется в воздухе, как брошенный горох, то вдруг сплотится в черное пятно. Подлетела стайка к родимому селу, сомкнулась разом, сделала круг, и прямо посыпались черные комочки на землю. В эту минуту скворцы удивительно смеш-

ны; присев где-нибудь на растаявшей лужайке, все они вытянулись в струнку, подняли голову и словно замерли; затем вдруг сразу засуетятся и побегут в разные стороны. Утолив голод, скворцы бросаются врозь к своим дуплам и скворечницам. Тут пойдут отчаянные драки из-за квартир. Но вот квартиры разобраны, и с утра до ночи полилась по селу скворчиная песня. Чего только не наслушаешься в этом попурри:[1] визг поросенка, мяуканье кошки, крик перепела; всех, как есть всех, передразнит этот веселый шут. А что он выделывает: то нахохлится, сожмется, то начинает отвешивать поклоны, то машет крылышками в такт песне, словно хороший капельмейстер.[2]

Вскоре явятся стаи скворчих; разбредутся они к своим гнездам, и пойдет хлопотливая деятельность — нужно чинить гнезда, таскать в них стебельки, соломинки, перья. Скворчиха снесет шесть-семь простых голубеньких яичек. Через две недели выклюнутся скворчатки. Целые дни старые скворцы бродят по лугам, по выгонам, по пашням, отыскивая кобылок, гусениц, кузнечи-

---

[1] Примечания: 1

Поппури (фр.) — музыкальная пьеса, составленная из отрывков различных произведений.

[2] Примечания: 2

Капельмейстер (нем.) — дирижер.

ков, жучков, бабочек и т. п., которых без устали таскают в дупло своим деткам.

Недели через две они уже подросли, оделись серыми перышками и начинают выглядывать из скворечницы. А еще через несколько дней, обыкновенно во второй половине мая, скворчата оставляют дупло. Старики их ведут в ближайший садик или на полянку среди кустов. В садиках, на дорожках, в это время собираются также выводки воробьев, хитрые старики не преминут ввести скворчат в эту компанию; и недаром: старые воробьи — лучшие сторожа для глупых воробьят и скворчат, они вовремя предупредят беспечных ребяток о близкой опасности.

Через несколько дней, когда скворчата поумнеют, выучатся хорошо летать, старики ведут их в луга, на выгоны, на пашни и учат там добывать пищу, состоящую исключительно из насекомых, а из них кобылки, стрекозы, кузнечики, личинки жуков, бабочек, мух составляют первое лакомство скворцов.

Каждый вечер семья скворцов собирается в кучку и летит в кусты ив и талов, растущих густыми чащами по берегам рек, прудов и озер. В таких зарослях их излюбленные места ночлега, куда слетаются семьи скворцов из всей окрестности

и ночуют вместе. Тут мало-помалу к осени образуются сотенные, тысячные стада их, которые с наступлением холодов, в сентябре, пускаются в далекий путь — в южные страны на зимовку.

На пути пролета этих стай есть местности, где скворцы останавливаются, гостят некоторое время, а затем пускаются дальше. В таких местах собираются иногда десятки тысяч скворцов. Такие, например, места есть на Рейне, на Дунае, у нас на Днепре, на Дону, на Волге и т. д.

Это обширные заросли ив и талов в широких заливных равнинах больших рек, где кругом расстилаются обширные луга, богатые пищей, любимой скворцами. Стаи кормятся целые дни в лугах, а на ночлег собираются в уютные места — в чащу ив — в невероятном множестве. Этой привычкой пользуются жители южных стран Европы. Заметив, где собрались скворцы, они тихонько окружат кусты сетями; затем вдруг зажгут факелы и начнут шуметь — испуганные светом и шумом бедные скворчики бросаются куда попало. Тысячами путаются они в сетях и затем поедаются жителями. Сколько гибнет наших любимцев в желудках людей — трудно себе представить. Но перелетят остальные за море, в Африку, в Аравию, Сирию, там уже им лучше.

Широкая долина Нила и после разлива кормит не одних только скворчиков.

Перезимуют они там и летят к нам, принося весть о грядущей весне.

Ценя скворца за его красоту и веселость, крестьянин не знает, как много он приносит ему пользы. Скворец поедает огромное количество насекомых и их личинок, очищая от них пашни, луга, сады и выгоны. Ни плодов, ни растений он вовсе не ест… Взятый маленьким из гнезда, скворец скоро приручается и привязывается к человеку. Его можно оставить совсем на свободе, будьте уверены, он не улетит далеко. Скоро он освоится со всеми в доме, будет ссориться с птицами и собаками из-за корма. Он осмотрит все щели и преисправно очистит их от тараканов, сверчков, мух и другой дряни. Его можно выучить свистать целые арии. Он даже научится произносить слова не хуже любого попугая.

Вообще из приручаемых птиц трудно указать другую более веселую, умную и забавную. Недаром полюбил скворца деревенский житель и, не в пример прочим, соорудил ему домик.

Возьмите выкормите скворчат; это так легко — булка, размоченная в молоке, творог с хлебом, молочная каша и больше ничего им не надо.

Берите скворчат, когда они уже покроются перышками, но их надо беречь от кошек. Потом скворец сам не дастся в обиду и будет драться даже с собаками. Это одна из самых ручных птиц, и скворца можно держать совсем на воле.

Дмитрий Мамин-Сибиряк

Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет

улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было

у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко… а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть… А?

— Погоди, добудем… Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти

ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина: но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка… — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть…»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться… Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка,

а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна…

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня… — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького…

— Ну, я буду тебя ждать… Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь…

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нем с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты

жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи… — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох

или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах… Вот грянул выстрел, и олень,

как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история…

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско… Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу,

прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь… Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох… Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка… И непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка… Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжащих насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился, и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от

него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками, красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному…

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун… — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела… Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти… Ах ты, какой

шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук; пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видел. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в гор-

шок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук…

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Богач и Еремка

I

— Еремка, сегодня будет пожива… — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье, — посмеивался Ерема. — И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился… Уж, видно, вам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно существовало какое-то неулови-

мое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттеплело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинавшую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива… — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовицам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы…

— Как поглядеть — так один страх в ем, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь… Так, Еремка? И хитрый-прехитрый… А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удоволь-

ствие…

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где главным образом гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клади, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага.

Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да, под гору… А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то… Я вот обойду по загуменьям, да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну, ступай…

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим логовищам лежат… Только вот голод-то не тетка; день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало…

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно:

обмани его один раз, а другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят… Хоть прощенья у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

И, удивительное дело, — каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле, — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы…

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато

на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!

II

— Ну и оказия!.. — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то… Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, что ли, чтобы понапрасну не маялся…

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную

тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать…

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку… Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест…

Богач взял зайца на руки и пошел в гору. Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча… — ворчал старик. — Откроем с Еремкой заячий лазарет… Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай… — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай…

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу… — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его… — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он…

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка… Значит, не будешь обижать? Так, так… Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает…

«Ах ты, оказия… — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев… Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще… несмышленыш…»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывав-

шей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками… Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!.. — ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашу-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый… У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай…

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение — корочки

черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту…

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту… а? Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба…

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить… Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость… Будет чваниться-то.

Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори… Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша… Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка… не тебе, а зайцу…

— Спасибо, красавица…

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником… А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено…

— Давай раздевайся. Гостья будешь… Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же…

— Неужто не видала?

— Как не видать… Только я-то видела летних

зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно, и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка… Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают…

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно…

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать… Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький… Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха… — думал он вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много… Ну, Ксюша, так как его мы назовем… а?

— Черное Ушко…

— Верно!.. Ах ты, умница… Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная…

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый… Вот поправится, — тогда и

приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся…

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — Поребячьи и плачет… Эй, ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку.

Она не виновата…

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому… Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву… Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей са-

мой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног, — и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле… — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет… А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка…

— Так он и побежал тебе в деревню… Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить… Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет… Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал.

Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой…

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно…

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный… — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый! Дедушка, а ведь он все понимает…

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — небойсь вот как знает, где его кормят…

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того… Может, и в ем своя

заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому… Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит…

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел,

пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно…

— А я ему молочка принесла, дедушка…

— Ну, молочко мы и без него съедим…

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно… Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка… — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам… Вот увидишь. Одним словом, заяц…

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь как сразу зазнался, косой…

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку… Кажется, немного дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца… Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой… — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну и придет. Верно тебе говорю…

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям…

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислуши-

ваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть… Ишь как запаливают… Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют…

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют…

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца… Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет…

— Какой твой?

— Да так… Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена… Черное Ушко…

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих…

— Ах, барин, барин, нехорошо… Даже вот как нехорошо…

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца…

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное

Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес… — решил он. — Надо попробовать…

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться… — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива…» — думал старик. Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев… Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес… Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет…

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше… — коротко объяснил он.

Константин Коровин

Белка

Однажды на базаре невзрачный мужичок, выйдя из трактира, подошел ко мне, посмотрел серыми глазами и сказал:

— Барин, слышь, хочешь, я тебе живую игрушку уступлю? Увидишь, до чего занятна. Только дешево не отдам.

И он из-за пазухи вынул желтую прехорошенькую белку. Она большими острыми круглыми глазками смотрела на меня.

Он мне дал ее в руки. Она преспокойно сидела.

— Ручная, брат, белка… Вот до чего ласковая. Спасибо скажешь. Игрунья… От тебя не уйдет. Орешками кормить будешь. А пусти, так она сама прокормится, к тебе придет. Этакой умный зверь, вот подумай, а лесной, дикий. Я ее ведь тут недалече нашел. Из гнезда ушла маленькая. Знать, мать-то коршун взял. Я люблю с ними заниматься, ну, и привыкают. Только дорого, менее красненькой не отдам.

Я вынул десять рублей:

— Хорошо. Спасибо. Хороша белка. Какая большая!

Крестьянин вынул платок, в один край завязал

деньги в узел. Отдал мне белку.

— Барин, — сказал он неожиданно. — А ты знаешь, она понимает, что я ее продал тебе. Ты ее не обидишь, от кошки убережешь. Эта белка радости много дает. Не поймешь — а вроде как любовь в ей есть. Поверила человеку. Значит, не боится и благодарит. Бери ее, клади в карман, скажи: «Умри» — и неси домой. А за красненькую… спасибо… Деньги, конечно. Я как тебя увидал, намекнулось мне, что ты ее купишь.

Я посадил белку в карман.

— Умри, — сказал крестьянин и засмеялся.

И белка на самом деле свернулась, как бы умерла.

Я пошел в лавку, купил орехов.

В трактире белка сидела передо мной и с изумительной красотой, держа в лапках орех, обтачивала его зубами, доставала зерно. Потом, быстро обежав по мне, села на плечо и грызла орех. Я взял ее, посадил в боковой карман, сказал: «Умри», и белка спряталась.

* * *

В моем деревенском доме, где была охотничья собака Феб, я показал белку. Феб немножко понюхал, не обратил внимания, и я выпустил

ее на стол. Она, быстро прыгая, взгромоздилась на занавеску окна. Окно было открыто, белка пропала за окном. Я выбежал на террасу, пошел к окну — белки нет... Пропала. Я всюду смотрел, на деревья, вдруг сзади белка села мне на плечо. Я с ней опять пошел в дом.

На большом столе у себя я прибрал все, так как боялся, как бы она не наелась красок, не попала бы лапками в палитру.[3] Сестра моя и гостивший доктор изумились привязанности белки, хотели погладить, но она не далась. Это было удивительно. Неужели правду сказал крестьянин, что она понимает, что она продана мне, что я ей хозяин?

* * *

Когда я лег спать, белка от меня не отходила. Я ей сделал гнездо: взял корзинку, наложил сосновых веток и сена, но она не желала быть в корзинке. Она спала со мной. Когда я ее хотел тихонько покрыть маленькой подушкой, она во все глаза смотрела на меня, и сделать это было невозможно. Она с быстротой молнии отскакивала в сторону. Оказалось, что это игра. Я видел, что это ей нравится: она нарочно садилась мне

---

[3] Примечания: 3

Палитра — тонкая дощечка, на которой художник смешивает краски.

на грудь и делала вид, что не смотрит. Накрыть ее подушкой было невозможно. Я видел, как это ее веселит. Я ее сажал на руку, хотел как бы прихлопнуть другой рукой: невозможно, она уже была у меня на голове. Разыгралась. Но когда я ей говорил: «Ну, довольно играть, спать, умри», белка засыпала у меня на плече.

Я боялся ее во сне задавить, но оказалось, что я напрасно беспокоился, так как она отлично со мной спала.

А утром она выбегала в окно в огромный бор до вечера. «Какая странность, — удивлялся я, — зачем же она возвращается?» Как это странно и как удивляло меня и удивляет сейчас. Она привязалась к человеку какими-то неведомыми законами любви.

* * *

Но вот в начале августа белка из лесу не вернулась. Я очень страдал и думал, что ее застрелили. Охотник Герасим, мой приятель, сказал:

— Кому стрелять?.. Она желтая, никому не нужна… Я их зимой бью. Желтую не купят.

Я в тот день сидел на террасе, где был накрыт чай, со своими приятелями. Вдруг появилась моя белка. Приятели удивились. Она бегала по сто-

лу, опустила лапку в варенье, попробовала его, потом опять спрыгнула с террасы, побежала на беседку, прыгнула на сосну. Тут мы увидели, что там, вытянув шейку и смотря круглым глазом, робко притулившись, сидит другая белка. Моя белка была около нее, они сидели вдвоем. Потом другая белка живо пропала, прыгая с дерева на дерево. Моя же белка спустилась, прыгнула через собаку Феба, села ко мне на плечо.

* * *

Наступили дожди, стала непогода. Пожелтели листья берез, и опали осины. Оголились леса. Белка редко уходила из дома. К Покрову[4] я уехал из деревни в Москву.

Я повез ее в клетке, которую купил в Москве. Клетка ей не понравилась, так что я ее вез часть пути в кармане. И всю зиму в Москве жила она со мной.

Когда я поздно возвращался с работы, из театра, она знала стук калитки, как я отворяю, и с невероятной радостью встречала меня в коридоре, бегая по мне кругами. Ждала, когда я выну ей кедровые

---

[4] Примечания: 4

К осени. Покров — церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый Русской Православной церковью 14 октября.

орехи или какой-нибудь гостинец.

Странно, что только доктору, которого видела у меня в деревне, позволяла она погладить себя; к другим не шла. Она не приставала, не просила, не надоедала, но ей нравилось, что ею любовались. Как странно, какой меры и такта был этот маленький зверек.

Шла долгая зима. Я выходил с ней гулять на двор, где был сад. Она забиралась на деревья, но, должно быть, привыкнув к теплу дома, гуляла недолго и лезла ко мне в карман.

* * *

Ранней весной я уехал в деревню.

В первый же день белка ушла и не возвращалась неделю. Потом объявилась опять и привела с собой другую белку, от которой беспрестанно возвращалась домой и уходила опять. Она возвращалась все реже и совсем пропала.

Опять осень и пурга первого снега. Уныло на душе. Серое небо. Дымят вдали черные овины. Тетушка Афросинья рубит капусту. Солят на кухне грузди.

Я взял ружье и пошел по лесной тропинке к реке. Стаи мелких птичек, чижиков, осыпали ветви оголенных берез. Улетают от нашей суро-

вой страны.

Вдруг на меня прыгнула белка и весело забегала кругом. Она уже посерела. Я так обрадовался. Она прыгнула и взбежала на сосну. Я взглянул кверху, увидел, как шесть белок прыгали с ветки на ветку. Я посвистел, на зов она опять вернулась ко мне.

— Прощай, Муся. Твои дети, должно быть?..

Феб посмотрел на белку пристально. Она была уже серая, но он догадался, что это наша белка.

Больше я ее не видал.

Антон Чехов

Белолобый

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная; она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее; ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьем, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала

у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который все кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днем бродил по лесу с ружьем-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановиться, кричал себе: «Стоп, машина!», и, прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нем находилась громадная черная собака неизвестной породы, по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперед, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: «Сошел с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки,[5] и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непре-

---

[5] Примечания: 5
Ярка — молодая овца.

менно. Ее мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на нее вдруг прямо в морду пахнуло теплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягненок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и теплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким, подвывающим голоском; овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон…

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошел к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го-го!..

И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу все это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что ее добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто тверже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята; и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки… Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягненок, а щенок, черный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую, раненую спину и, как ни в чем не бывало, замахал хвостом и залаял на волчицу. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он за ней. Она оглянулась и щелкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно решив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким, радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчетливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и

часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем это он бежит за мной? — думала волчиха с досадой. — Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне ее были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он все стоял поодаль и лаял.

Волчата сосали свою мать, пихая ее лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; ее мучил голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его

не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня… нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, а они втроем напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, но не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне и смотрели сверху на их борьбу и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему; и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягненок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она все щелкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягненок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его…» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул ее в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и, по слабости здоровья, она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь…

К ночи похолодело. Щенок соскучился и ушел домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять

отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума, и ее пугали пни, дрова, темные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг далеко впереди на дороге замелькало что-то темное… Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая все в сторону, обогнала темное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом, возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал», — подумала волчиха и быстро побежала вперед.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги.[6] Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идет ли щенок, но едва пахнуло на нее теплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный, заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих

[6] Примечания: 6
Слеги — толстая жердь.

овец, залаял еще громче… Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат. — Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружье дало осечку; он спустил еще раз — опять осечка; он спустил в третий раз — и громадный огненный сноп вылетел из ствола, и раздалось оглушительное «бу, бу!». Ему сильно отдало в плечо; и, взявши в одну руку ружье, а в другую топор, он пошел посмотреть, отчего шум…

Немного погодя он вернулся в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего… — ответил Игнат. — Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит все как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушел, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не

люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь. — Ну, божий человек, рано еще вставать, давай спать полным ходом…

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, все приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

Иван Соколов-Микитов

Заяц

Это было много лет назад.

Ранним утром я возвращался с дальнего глухариного тока. С трудом перебравшись через горелое топкое болото, я выбрал удобное место, присел отдохнуть у большого зеленого пня, очень похожего на мягкое кресло.

В лесу было тихо, солнце взошло. Я раскурил трубочку и, развалившись у пня, положив на колени ружье, стал прислушиваться к звукам. Было слышно, как шумят на болоте журавли, токуют в позолоченном небе бекасы. Где-то поблизости прогремел и засвистел рябчик.

Весной я никогда не стрелял рябчиков, но с костяным старым пищиком из пожелтевшей заячьей кости никогда не расставался. Мне нравилось пересвистываться с рябчиками, близко смотреть на подлетевших на свист задорных петушков с распущенными крылышками и хвостами, шустро бегавших по колодам и кочкам почти у моих ног.

Покуривая трубочку, пересвистываясь с подлетевшим рябчиком, я вдруг увидел за стволами деревьев тихо ковылявшего прямо на меня зайца-

беляка. Усталый зайчишка возвращался на лежку после веселых ночных похождений. Коротенькими прыжками он тихо ковылял по моховым кочкам. На его мокрых ляжках смешно болтались клочки вылинявших зимних порточков.

Я сидел не двигаясь, не шевеля пальцем, сливаясь с высоким зеленым пнем. Когда заяц подбежал совсем близко, почти в колени, я немного пошевелился и тихо сказал:

— Ага, попался, косой!

Боже мой, что стало с зайцем, как подхватился он, как замелькали между кочками его порточки, коротенький хвостик! Громко смеясь, я крикнул зайцу вдогонку:

— Улепетывай, косой, поскорее!

У каждого охотника в запасе много воспоминаний о неожиданных встречах и происшествиях в лесу. Обычно такие охотники рассказывают о своих удачных выстрелах, о застреленной и добытой дичи, о работе умных собак. На охотничьем долгом веку я много перестрелял крупной и мелкой дичи, не раз охотился на волков и медведей, но — странное дело — простая встреча с забулдыгой-зайчишкой запомнилась больше, чем самые удачные и добычливые охоты.

Я как бы и теперь вижу лес, тихое утро, слышу

свист рябчика, отчетливо вижу зайчишку-беляка, мокрые его порточки.

— Улепетывай, брат косой, на доброе здоровье!

Журавль-летчик

Совершая воздушное путешествие над тайгою, я слышал от летчиков много интересных рассказов о лесных и охотничьих приключениях. Летчики рассказывали, как доводилось им наблюдать зверей в тайге. На лесном аэродроме мне показали живого маленького медвежонка. Доставленный из тайги на самолете, лохматый авиатор чувствовал себя с людьми прекрасно. Он жил в клетке, устроенной на аэродроме. Иногда мишку выпускали гулять, и, смешно переваливаясь, как бы выполняя роль строгой охраны, он гонялся за козами, забиравшимися на запрещенную для посторонних посетителей зону… Кроме авиатора-мишки жила в штабе лесного отряда, пользуясь общим дружеским расположением, маленькая белочка Дуся, пойманная летчиками в реке во время кочевки (белки во время своих кочевок нередко переплывают широкие реки). Но самой большой любовью и почтением пользовался в авиационном отряде ручной журавль Василий Иванович. Важно, точно распорядитель-диспетчер, ходил он по аэродрому. Казалось, он наблюдал за общим порядком, и можно было

подумать, что без Василия Ивановича не может отправиться ни один самолет. Денно и нощно присутствовал он на аэродроме, и странно было видеть ночью, в свете фар въезжавшей на аэродром машины, стоявшую на одной ноге его высокую сторожевую фигуру.

Живя с летчиками в лесном отряде, наблюдая и знакомясь с жизнью людей, запомнил я рассказ о журавле Василии Ивановиче, поразившем меня умом и привязанностью к аэродрому.

Однажды летчику Ермакову пришлось лететь над лесами. Над тайгой мотор закапризничал, летчику пришлось спускаться на лес.

Садиться в сплошном лесу особенно трудно и опасно. С высоты летчик наглядел внизу большое открытое болото и стал планировать. С остановившимся мотором он скользил по воздуху все ниже и ниже.

В болоте ему удалось благополучно сесть между деревьями, не повредив машину. При посадке самолет зарылся в болото и «скапотировал» — перевернулся вверх колесами. Летчик благополучно выбрался из перевернувшейся машины и огляделся.

Болото было большое и чистое — на много десятков верст. По карте летчик определил место

и, отправив за помощью бортмеханика, решил терпеливо дожидаться людей, не покидая своей машины.

«Наверное, меня скоро хватятся и начнут искать», — думал он, приготовляясь к ночлегу.

К своей неудаче летчик отнесся спокойно. Он хорошо знал, что товарищи его не оставят и непременно скоро разыщут. Провизии с ним было немного, но у летчика было с собой охотничье ружье и патроны. Он не боялся погибнуть.

На болоте летчику пришлось прожить больше недели. Каждый день он ходил на охоту, а ночью спал на крыле самолета.

Бродя по болоту, он однажды поймал журавленка.

Это был длинноногий, уже оперившийся птенец, не умевший хорошо летать.

Пойманного журавленка летчик привязал за ногу к опрокинутому самолету.

— Я не знал, чем питаются журавли, и стал приносить из болота лягушек, собирал ягоды, — так рассказывал потом о своих заботах летчик.

Больше недели летчик и журавль жили одни в лесу. А еще через несколько дней летчика нашли. Прилетевший самолет сбросил ему записку, пакет с продовольствием и ружейными патро-

нами. Скоро к самолету вместе с бортмехаником пришли люди.

Работы было много. Нужно было расчистить в болоте место для взлета, сделать настил из бревен, чтобы не завязла машина.

Когда все было готово, летчик посадил в наблюдательскую кабину своего журавленка, дал газ и благополучно взлетел.

С ближайшего пункта, где ему пришлось заправлять бензином машину, он послал в свой отряд такую телеграмму:

«Все благополучно. Вылетаю журавлем. Встречайте».

Непонятная телеграмма наделала много шума и хлопот в штабе авиационного отряда. Там никто не знал Журавлева (на телеграфе переврали слово «журавль», о котором сообщал летчик).

— Наверное, это приехало какое-нибудь начальство, — сказал начальник штаба, — на всякий случай нам нужно его встретить.

Самолет летчика Ермакова на аэродроме встречали по форме. Едва показалась в небе машина, на аэродром вышел дежурный начальник. Почтительно подбежал он к приземлившейся у старта машине.

Из кабины виднелось знакомое лицо Ермакова.

Пассажиров в самолете не было видно.

Закинув на лоб очки, Ермаков приветливо улыбался.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал он, останавливая мотор.

Держа под козырек, дежурный начальник осторожно спросил:

— А где же товарищ Журавлев?

— Журавлев? Товарищ Журавлев со мной, в кабине.

Дежурный осведомился тревожно:

— Может быть, товарищу Журавлеву дурно?

— Быть может.

Лицо летчика сияло. Обеспокоенный дежурный заботливо заглянул в кабину. Там на сиденье наблюдателя, прихлестнутый поясным ремнем, спокойно сидел… журавль. Увидев нежданного гостя, дежурный рассмеялся:

— Так вот ты какого нам Журавлева доставил! А мы тут головы ломали, думали: кто с тобой летит? Решили встретить.

Прибывшего журавля поселили на аэродроме. Скоро он привык к людям и, важно выступая, ходил возле поднимавшихся и садившихся крылатых машин. На аэродроме новый гость чувствовал себя как дома — на болоте. Новая жизнь

очень понравилась журавлю. Он стал брать из рук угощение и совсем перестал бояться людей. Днем и ночью он был с людьми, работавшими на аэродроме.

Осенью, в положенный срок, журавль начал учиться летать. Вытянув шею, он брал разбег против ветра и, как разбежавшийся самолет, отделялся от земли. Сделав круг над аэродромом, журавль благополучно и аккуратно приземлялся. Следя за его полетом, летчики с уважением говорили:

— Здорово летает наш Василий Иванович!

Однажды, особенно увлекшись, Василий Иванович улетел на соседнее болото и пробыл там почти весь день. Под вечер, когда в отряде начинались учебные полеты, он услыхал звук запускаемых моторов и тотчас вернулся. С тех пор он часто улетал на болото, но каждый раз возвращался на звук мотора. Присутствовать на аэродроме при вылете самолета он как бы считал своей служебной обязанностью.

Позднею осенью, когда потянули на юг журавли, Василий Иванович, говорят, порядочно заскучал. Курлыкавшим в небе крылатым землякам он отвечал своим журавлиным приветствием и, подняв крылья, тревожно носился по аэродрому.

Иногда, заслышав печальный голос отбившегося земляка, дикие журавли, разбив строй, долго кружили над аэродромом, как бы приглашая его с собою в долгий полет, но подниматься высоко в небо Василий Иванович не решался.

Михаил Пришвин

Беличья память

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я скорлупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала третью полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

Зверь бурундук

Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки. Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под деревьями с широкими листьями, в густой траве. Но, случилось, олений клещ больно укусил маленького теленка; он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот я понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были «зайчики» — точно такие же, как у оленей и ланей. С такими «зайчиками» легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя назади возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки, а если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится еще шире, еще много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом и вот как догадался.

Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом оленю достается корм, они ели у нас готовое и са-

мое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта. И так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили — прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки, эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые прехорошенькие зверьки. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени и что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуа-лу.

Случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуа-лу нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя. Хуа-лу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверно, бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и — бух! — забор наш повалился. Маленький зверек бурундук, конечно, сразу отвалился, но для испуганной Хуа-лу теперь за ней бежал, несся по ее следам не маленький, а огромнейший зверь бурундук. Другие олени

ее понимали по-своему и вслед за ней стремительно неслись. И все бы эти олени убежали, и весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка Тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними Тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный, огромный зверище бурундучище.

У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками: заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется — и сытно и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная, умная собака Тайга. Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуа-лу бросилась через упавший забор и от страха у ней назади белая салфетка стала много шире, много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень и сам тоже показывал следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего

служат эти белые салфетки пятнистым оленям. В тайге ведь не только бурундук — там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасет другого, а этот спасет третьего, и все вместе приходят в безопасные места.

Рождение Кастрюльки

Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке…

Каждый олень имеет свою кличку. Пискунья и Манька со своими оленятами совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее Кастрюлька. С этой Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких оленей.

Кастрюлька оттого, оказывается, особенно ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй день, то она далеко не была бы такая добрая, или, как говорят, легкобычная. А взятый на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым.

Олени начинают телиться в мае, а кончают в июне. Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины, ручьи, он

нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чуяли и не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко и, наблюдая в бинокль одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что эта оленуха скоро там, в кустах, должна растелиться.

Так оно и было. Оленуха вошла в густые лубовые заросли и родила желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем пятнами, совершенно похожими на пятна солнечных лучей — «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал сосать. Она встала, и он стоя начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки.

Тайга приближалась…

Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она по-

пробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер в траве, весь осыпанный и солнечными и своими «зайчиками». Мать отбежала в сторону, встала на камень, увидала Тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она опять остановилась на высоком месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, а все ближе и ближе подбирается к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. Не помогли ни свист, ни топанье. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы.

За Тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: до того притворяются каменными.

Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки: сунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь — глотай,

хочешь — нет, все равно есть захочется, рано или поздно глотнешь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала пить прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа Кастрюлькой.

Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю, и она ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходила.

Синий лапоть

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на

черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай, — сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он, — сказал Родионыч уверенно. — Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди, — шепчет он, — синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — и еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей.

Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова…

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко, мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, — что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из дальних кустов только своим «цветком» помахал.

Журка

Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые, колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его все растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца

и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

«Изобретатель»

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их

некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите».

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная курица на берегу.

Они все плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья пла-

вала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной курицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел.

Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне, возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утиный крик стены нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали. И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все дру-

гие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали все мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню.

На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался.

Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле

выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины.

И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята

к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

Хромка

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну: «Хромка!» — и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять: куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверюшек и птиц:

у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси — все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка — утенок, — нет, и гусь с высоты норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой, величиной с лесной орех, сообразил, что единственное спасение его в человеке.

И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И, когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари — считали дикую природу своей родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке

своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимется с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.

О чем шепчутся раки

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всегда более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем — не поймешь.

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из бере-

говых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая это штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло; бабушка с внучкой идут, распарились, разморились.

Им уж теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только терлись друг о друга шершавыми костяными бочками, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку

пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходит Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзина пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, проща-

лись.

Виталий Бианки

Музыкант

Старый медвежатник сидел на завалинке и пиликал на скрипке. Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо у него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя музыка. Мимо проходил знакомый колхозник и говорит старику:

— Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружье. Из ружья у тебя лучше выходит. Я сейчас медведя видел в лесу.

Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел медведя. Взял ружье и пошел в лес. В лесу старик долго искал медведя, но не нашел даже и следа его.

Устал старик и присел на пенек отдохнуть.

Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица голосу не подаст. Вдруг старик услыхал: «Дзенн!..» Красивый такой звук, как струна пропела.

Немного погодя опять: «Дзенн!..»

Старик удивился: «Кто же это в лесу на струне играет?»

А из лесу опять: «Дзенн!..» — да так звонко, ласково.

Старик встал с пенька и осторожно пошел туда, откуда слышался звук. Звук слышался с опушки.

Старик подкрался из-за елочки и видит: на опушке разбитое грозой дерево, из него торчат длинные щепки. А под деревом сидит медведь, схватил одну щепку лапой. Медведь потянул к себе щепку и отпустил ее. Щепка выпрямилась, задрожала, и в воздухе раздалось: «Дзенн!..» — как струна пропела.

Медведь наклонил голову и слушает.

Старик тоже слушает: хорошо поет щепка!

Замолк звук, — медведь опять за свое: оттянул щепку и пустил.

Вечером знакомый колхозник еще раз проходит мимо избы медвежатника. Старик опять сидел на завалинке со скрипкой. Он пальцем дергал одну струну, и струна тихонечко пела: «Дзинн!..»

Колхозник спросил старика:

— Ну что, убил медведя?

— Нет, — ответил старик.

— Что ж так?

— Да как же в него стрелять, когда он такой же музыкант, как и я?

И старик рассказал колхознику, как медведь играл на расщепленном грозой дереве.

Лупленый бочок

Думаете, все зайцы одинаковые, все трусы? Нет, зайцы тоже разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз поймали скандалиста.

Мы были на охоте в лесу. Втроем: сынишка, я и Джим. Джим — это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая: всякую дичь разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную поймает, схватит и осторожно, не помяв ни перышка, подаст прямо в руки. Необыкновенно умный и добрый у нас Джим. С другими собаками не дерется, никого никогда не кусает, всем знакомым людям при встрече хвостиком часто-часто машет и, знаете, так по-собачьи, приветливо улыбается.

На охоте мы были сухой осенью, — уже лист с деревьев падал, а дождей больших еще не было. В это время охотиться в лесу всего трудней: высохший лист гремит под ногами, дичь тебя далеко слышит и видит сквозь поредевший кустарник и, не допустив, улетает.

Вдруг слышу: Джим залаял, залаял в кустах — и вдруг замолк.

«На кого это он?» — думаю. И приготовился стрелять.

Но оттуда, из кустов, никто не вылетел.

А сынишка уже там — и кричит мне из кустов:

— Папа, папа, беги скорей! Кого Джим-то в плен взял!

Я — к ним. И вижу: Джим лежит врастяжку на земле, а передними лапами зайчонка прижал к листьям, держит его. Зайчонок верещит отчаянно, Джим хвостиком часто-часто виляет, а сынишка мой стоит над ним — и не знает, что ему делать.

Я подошел, взял зайчонка у Джима. Держу зайчонка двумя пальцами за шиворот, — он еще пуще верещит, лапками от меня отбивается.

Сынишка говорит:

— Это он на тебя сердится. Кричит: «Как ты смеешь меня — такого маленького — обижать!»

И вправду похоже было, что зайчонок что-то эдакое кричал.

А Джим на задние лапы встал, передними мне в колени уперся и лижет зайчонка: успокаивает его, — что, значит, не бойся, не таковские мы, ничего плохого тебе не сделаем.

Тут вдруг сынишка говорит:

— Смотри, папа, у него левый бочок лупленый.

Смотрю: на левом боку у зайчонка плешинка. Шерсть содрана, голая кожа — с пятак кружок.

— Эге! — говорю. — Да ведь это мне знакомый зайчишка! Он у дяди Сережи сбежал. Полезай-ка, дружок, в карман.

Осторожно его под пузечко перехватил и сунул в свою охотничью куртку, в спинной карман. Такой у меня карман есть в куртке во всю спину, а по бокам — пуговицы. Очень удобно в нем стреляную дичь носить и всякую всячину, что, бывает, на охоте попадается.

Зайчонку там темно, тепло, — он и притих.

И сразу мы домой пошли.

По дороге мне пришлось, конечно, все подробно рассказать сынишке: откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок лупленый.

Дядя Сережа — приятель мой, тоже охотник, живет на краю деревни, у самого леса. Зайчонка он поймал недели три назад — совсем еще крошкой — у себя в саду под кустом смородины. Этот зайчонок из листопадничков. У зайчих первые зайчата родятся весной, когда еще снег корочкой — наст. И называются они настовичками. А последние в году родятся осенью, когда уже лист с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут — листопадничками.

Дядя Сережа очень этому зайчонку обрадовался. Вот почему: у него, у дяди Сережи, не так давно ощенилась дворовая собака, по кличке Клеопарда. Щенят всех он еще раньше знакомым своим обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопарда — совсем с ума сойдет, на всех начнет кидаться. Дядя Сережа и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, не лютовала. Так и сделал.

Щенята в ящике сидели. Он их оттуда взял, когда матери не было, а на их место зайчонка положил.

Клеопарда пришла — щенят нет, а сидит в ящике малая зверюшка и ее собачьим запахом пахнет: в ящике-то все с ее запахом.

Она и не тронула зайчонка, своим признала. Утешилась им. Кости ему стала таскать, лучшие куски мяса. От такой пищи зайчонок живо бы ножки протянул, да дядя Сережа кормил его молоком и капустой. Так и не научила Клеопарда своего приемыша кости глодать и мясо есть — ее собачью пищу. Зато научила своей собачьей храбрости.

Клеопарда была отличным сторожем и к хозяйскому дому никого не допускала — ни чужого человека, ни собак. С таким злобным видом

вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмет хвоста и не пустится наутек, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибет с ног. Ростом она была с волчицу.

Зайчонок взрослел быстро. Зайчиха своих детей и двух недель не кормит. По-заячьему, двухнедельный зайчонок уже «большим» считается и должен сам себе разные вкусные травки разыскивать и прятаться от собак.

Этот зайчонок, хоть еще махонький, живо из ящика выскочил и бегал по всему двору за своей названой матерью. И во всем ей, как обезьянка, подражал. Клеопарда с места — и он за ней. Она на собаку — и он тоже. Она куснет — и он старается куснуть собаку. А зубы у него передние — видели зайцев? — длинные, острые, ветки перегрызают. Как куснет, — из собаки шерсть летит! Собаке не до него: только бы от Клеопарды отбиться. Он, зайчонок, и потерял всякий страх перед собаками. Как где увидит, так и несется навстречу — кусаться. Храбрей волчонка стал. Соседские собаки все его боялись.

Да вот раз забрел на двор к дяде Сереже какой-то дальний щенок, который ни Клеопарды не знал, ни храброго ее сынишку.

Клеопарды тут не случилось поблизости, а

зайчонок ее, напившись молочка, спал на сене под ящиком.

Щенок подбежал к ящику, — зайчишка! И кинулся на него.

Собака, конечно, не то, что заяц. Если по-заячьи двухнедельный зайчонок уже «большим» считается, то у трехнедельной собачонки еще только глаза прорезаются. Она и в три месяца считается щенком.

Этому щенку месяца четыре уже стукнуло отроду, а он был еще совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело взяться толком, он не знал — не приходилось ему еще на охоте бывать.

Он прыгнул на зайчонка и хвать его зубами за бочок! Надо бы за шиворот или еще как, а он за бок.

Ну, конечно, шерсти клок выдрал порядочный, плешинку на боку сделал, — а удержать не мог. Зайчонок как вскочит, как махнет с перепугу через ящик — только его щенок и видел! А тут еще Клеопарда прибежала, — пришлось щенку поскорей убираться со двора подобру-поздорову.

Клеопарда своему зайчонку рану зализала. Известно ведь: собачий язык — лучше всякого лекарства, и раны залечивает превосходно. Но

зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Сережи больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор — и в лес.

Да вот трех дней не прошло, Джим наш его в лесу и поймал.

Сынишка рассказ мой выслушал и губы надул, чуть не плачет.

— Ну вот, — говорит. — Ты его, значит, дяде Сереже несешь. А я думал, он у нас поживет…

— Что ж, — говорю. — Сегодня-то уж, конечно, у нас переночует, а завтра сходим к дяде Сереже, попросим. Если ему не надо, может, и уступит нам.

Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол.

Он сразу в угол под лавку — и спрятался там.

Сынишка налил ему блюдечко молока, зовет его:

— Лупленый Бочок, Лупленый Бочок, иди молочко пить. Сладкое!

Зайчонок не выходит.

Сынишка полез за ним под лавку, схватил его за шиворот, вытащил. Зайчонок верещит, задними лапами дрыгает.

— Глупенький, мы же люди, — объясняет ему сынишка, — мы тебя не обидим.

А зайчонок изловчился — и цоп его зубами за палец! Так куснул, что даже кровь пошла.

Сынишка вскрикнул, выпустил его.

Зайчонок опять под лавку.

Тут наш котенок, — у нас еще котенок тогда был, ростом поменьше зайчонка, — подбежал к блюдечку и начал лакать из него молоко.

Лупленый Бочок как выскочит, как кинется на него, как куснет!

Котенок птицей от него на печку взвился!

Сынишка сквозь слезы улыбается:

— Вот так заяц!

Мы поужинали, и Джим первый улегся спать на свое место — у него свой матрасик в углу. Джим очень устал — ведь целый день по лесу бегал, дичь искал старичок.

Смотрим, Лупленый Бочок к нему ковыляет. Сел на задние лапы, а передними вдруг как забарабанит по Джиму!

Джим вскочил и, ворча и оборачиваясь, ушел под лавку: не драться же с маленьким, — да все-таки обидно свою постель такому уступать!..

А Лупленый Бочок преспокойно себе улегся на его матрасике.

Переспали мы ночь. Утром встаем, — Джим так и спит под лавкой на голом полу, а котенок все

на печке сидит, слезть боится.

Я сынишку спрашиваю:

— Ну что ж, пойдем к дяде Сереже зайчонка себе просить?

Сынишка посмотрел на котенка, на Джима, на свой завязанный палец — и говорит:

— Знаешь что? Пойдем лучше отнесем зайчонка дяде Сереже насовсем.

Так мы и сделали. Ну как, в самом деле, такого скандалиста дома держать! Со всеми дерется. Уж на что добряк Джим — и с ним не ужился.

Отнесли мы зайчонка дяде Сереже, а он говорит:

— Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли.

Пришлось в лес нести.

Там выпустили.

Зайчонок прыг-прыг — и в кусты.

Даже «до свиданья» не сказал.

Вот какие зайцы бывают.

Подкидыш

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили ее яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики.

Только одно из шести яичек мне удалось отобрать у мальчишек целым.

Я решил спасти спрятанного в нем птенчика.

Но как это сделать?

Кто выведет его из яйца?

Кто вскормит?

Я знал неподалеку гнездо другой птички — пеночки-пересмешки. Она только что отложила свое четвертое яичко.

Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички пересмешки: те — розовые с черными точечками. И что будет с птенцом каменки? Ведь он вот-вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки выклюнутся только еще дней через двенадцать.

Станет ли пересмешка выкармливать подкидыша?

Гнездо пересмешки помещалось на березе так невысоко, что я мог достать его рукой.

Когда я подошел к березе, пересмешка слетела с гнезда. Она порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно умоляла не трогать ее гнезда.

Я положил голубое яичко к ее розовым, отошел и спрятался за куст.

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо.

Но все-таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. Подкидыш стал приемышем.

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца?

Когда утром на следующий день я подошел к березе, с одной стороны гнезда торчал носик, с другой — хвост пересмешки.

Сидит!

Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и рядом с ними — голый слепенький птенчик каменки.

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве и сунула ее в рот маленькой каменке.

Теперь я был уже почти уверен, что пересмешка выкормит моего подкидыша.

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки.

Очень меня удивляло, как она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца.

Я скорей отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле.

На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост.

Я подумал: «Все кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с голоду».

Но нет, в гнезде лежала живая каменка. Она спала и даже не тянула вверх головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что покрывала своим тельцем чуть видные из-под нее розовые яички.

Тогда я догадался, что приемыш отблагодарил свою новую мать: теплотой своего тельца он грел ее яички — высиживал ее птенцов.

Так оно и было.

Пересмешка кормила приемыша, приемыш высиживал ее птенцов.

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах.

И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых яичек.

Пересмешка принялась выкармливать своих

родных птенцов и выкормила их на славу.

Плавунчик

Преудивительная у нас водится птичка. Называется — плавунчик.

Где бы вы ни жили летом — на Волге, на Кавказе или в жарких степях Казахстана, под Ленинградом, под Москвой или на Камчатке, — всюду вы можете этих птичек встретить. И всегда неожиданно. А назавтра придете туда, где их видели, — их уж нет.

Ищите их на море, в озере, на реке, в пруду. Даже если около вашего дома есть просто большая яма — и тут вам могут попасться на глаза плавунчики. Была бы в яме вода.

Птички эти из куликов. Кулики — стройные такие птицы, на очень длинных ногах и с очень длинным носом. Живут больше по болотам, по берегам рек, озер. Но они не плавают, не ныряют: только бегают у воды по берегу и кланяются, кланяются носом до земли. Носом они достают себе еду в тине, в иле, под камешками или в траве.

Кулики-то плавунчики — кулики, да у них, как говорит мой сынишка, все шиворот-навыворот. Носик у них не такой уж длинный, ножки тоже. И редко увидишь их на берегу: они все плавают.

Спросите, на кого плавунчики похожи? Как их узнать, если встретишь?

Узнать их очень легко. Ростом плавунчики примерно со скворца. Похожи они на те нарядные цветные поплавки, что покупают молодые удильщики в городских магазинах. Особенно похожи, когда сидят на воде: сидят и танцуют на волнах, как поплавки. Сами белые, и серые, и красноватенькие — пестро расписаны.

И всегда их целая стайка. Народ они очень дружный. Одиночку редко-редко встретишь. Они все в компании.

Сынишка мой, когда в прошлом году в первый раз их увидел, очень удивился. Пришел домой и говорит:

— Что за птиц таких я видел, — просто не пойму! Идешь — все птицы от тебя удирают, разлетаются. А эти и не думают. Плавают у самого берега. Я подхожу — они не только не улетают, даже отплыть подальше не хотят. Кувыркаются головой под воду, как маленькие уточки. Ни минуты не посидят спокойно: кружат жуками на воде. А то в чехарду начнут играть: прыгают друг через друга, перепархивают — и опять на воду садятся.

Жили мы прошлый год в деревне на Урале.

Домик наш стоял на самом берегу реки Камы. И все лето стайки плавунчиков плавали у нас перед глазами, — прямо из окошек видно. Сегодня плавает стайка, а завтра исчезнет. Пройдет два-три дня, другая стайка появится. И так все лето.

Сынишка мой говорит:

— Вот бездельники! Другие птицы — все на гнездах, птенцов выводят. А эти ничего не делают, только в чехарду на воде играют все лето. Наверно, это петушки: красивенькие такие, яркие. У всех птиц самцы красивей самок. Наш Петька вон какой франт, а курочки — серенькие.

Я ему объяснил, что он ошибается. У плавунчиков как раз наоборот: петушки серенькие, а курочки франтихи, ярко одеты. Далеко на севере, в тундре, весной курочки снесут в гнезда яйца — и до свидания! Улетают. Петушки одни на гнездах сидят, детей выводят, потом учат их, как жить. А курочки-франтихи все лето по всей нашей стране летают, путешествуют себе с места на место.

Сынишка мой говорит:

— Это просто какие-то птички шиворот-навыворот! А все-таки я их шибко залюбил, потому что они меня не боятся. Будто знают, что я их не трону и плохого им не сделаю. Хорошие они.

— Очень хорошие, — согласился я.

И вот раз утром прибегает мой сынишка домой с Камы. Он рыбу ходил удить на реку.

Прибегает и говорит:

— Смотрите, кого я принес.

Лезет себе за пазуху, вынимает оттуда живого плавунчика и пускает его на пол.

— Я, — говорит, — сидел на берегу с удочкой. Вдруг две вороны летят. Кричат, каркают. А впереди них, смотрю, какая-то маленькая птичка мчится. Вороны ее ловят, схватить хотят. Она из стороны в сторону бросается, кричит.

Увидела меня — и прямо ко мне. Примчалась — и в ноги мне. И сидит.

«Туик!» — говорит. Я сразу понял: «Защити меня», — просит.

Ну, я на ворон удочкой замахал, закричал. Они покружились, видят — со мной не справиться, и отлетели.

Я нагнулся, взял плавунчика в руки. Он и не думает улетать. Я удочку смотал — домой с ним. Вот он, — видите какой.

Плавунчик ходит себе по избе, нас ни чуточки не боится.

Думали мы, думали, — что с ним делать? Конечно, такая милая птичка — радость в доме. Но чем ее кормить? И ведь ей плавать надо. Держать

дома трудно.

Решили выпустить.

В деревне-то, конечно, нельзя выпускать: тут кошки, собаки и те две вороны. Решили плавунчика отнести подальше.

Сынишка наклонился, взял его в руки.

Он ничего, — пожалуйста! Точно век с людьми в избе жил.

Пошли мы с сынишкой за околицу, через поле, в лес. В лесу, среди вырубки, знал я такую большую яму с водой. Тины там, корму всякого птичьего много было. Днем туда разные кулики прилетали — покормиться, а на ночь — утки.

На этой яме мой сынишка и выпустил плавунчика.

Плавунчик порхнул на воду, пискнул нам два раза — туик, уик! — вроде, значит, «спасибо» сказал, «до свиданья» — и как ни в чем не бывало принялся жуком кружить по воде, пить и есть.

Долго мы стояли с сынишкой, любовались им. Наконец, я говорю:

— Ну, пойдем. Мама давно уж, верно, нас с обедом ждет. А плавунчик забудет нас, улетит отсюда на Каму — к своей стайке. Птица вольная, — ей так хорошо.

Ушли мы. Но я ошибся: плавунчик не улетел и

не забыл нас.

Через два дня пришли мы с сынишкой на эту яму: уток я хотел настрелять. Спрятались в елушках на берегу.

Уж солнце за лес село. Тут вдруг что-то мелькнуло у нас над головой — и видим: плавунчик наш на воду садится!

Я высунулся из елушек, машу на него рукой:

— Кыш, кыш, улетай отсюда скорей!

А он посмотрел на меня, — туик! — пискнул, вроде «здравствуй» сказал, и плывет к нам. Подплыл и у наших ног кувыркается, тинку со дна носом достает — закусывает.

Сынишка говорит:

— Пойдем-ка, пап, домой лучше. А то еще ты моего плавунчика вместо утки подстрелишь, как стемнеет.

Так и ушли, ни разу не выстрелив.

И больше уж не пришлось мне на этой яме охотиться: плавунчик наш привычку взял каждый вечер сюда прилетать. Плавает среди уток, кружит по воде, — ну, как тут стрелять: дробь разлетится — ненароком и его заденет.

Пришла пора — с севера, из тундры, прилетели стайки серебристых плавунчиков: петушки со своими воспитанниками — молодыми.

Поплавали немножко на Каме все вместе — с франтихами-самочками. И исчезли.

Это они в свое осеннее путешествие отправились — на зимовки. А зимовки у них в далеких жарких странах — в Индии, в Индокитае и еще дальше.

Улетел с ними и наш плавунчик.

Но весной он опять прилетит.

И, пожалуйста, ребята, если где встретите его или других плавунчиков, — не трогайте их, не пугайте! Они ведь совсем беззащитные и, главное, очень уж верят людям.

А ведь так приятно, так хорошо на душе становится, когда в тебя крепко верят и ждут от тебя хорошего.

Особенно, когда так в тебя верит беззащитное маленькое существо.

Пусть хоть птичка.

Борис Житков

Беспризорная кошка

I

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи огромный пес. Мохнатый, весь в черных пятнах, — Рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а Рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает.

Обернешься к нему и скажешь сердито:

— Плохи наши дела, Рябка! Вот как…

Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает.

Когда я надолго уезжал в море, я всегда Рябку трепал по спине и уговаривал, чтобы хорошо стерег. И вот хочу отойти от него, а он встанет на задние лапы, натянет цепь и обхватит меня лапами. Да так крепко — не пускает. Не хочет

долго один оставаться: и скучно и голодно.

Хорошая была собака!

II

А вот кошки у меня не было, и мыши одолевали. Сетки развесишь, так они в сетки залезут, запутаются и перегрызут нитки, напортят. Я их находил в сетках — запутается другая и попадется. И дома все крадут, что ни положи.

Вот я и пошел в город. Достану, думаю, себе веселую кошечку, она мне всех мышей переловит, а вечером на коленях будет сидеть и мурлыкать. Пришел в город. По всем дворам ходил — ни одной кошки. Ну нигде!

Я стал у людей спрашивать:

— Нет ли у кого кошечки? Я даже деньги заплачу, дайте только.

А на меня сердиться стали:

— До кошек ли теперь? Всюду голод, самим есть нечего, а тут котов корми.

А один сказал:

— Я бы сам кота съел, а не то что его, дармоеда, кормить!

Вот те и на! Куда же это все коты девались? Кот привык жить на готовеньком: нажрался, накрал и вечером на теплой плите растянулся. И вдруг

такая беда! Печи не топлены, хозяева сами черствую корку сосут. И украсть нечего. Да и мышей в голодном доме тоже не сыщешь.

Перевелись коты в городе… А каких, может быть, и голодные люди приели. Так ни одной кошки и не достал.

III

Настала зима, и море замерзло. Ловить рыбу стало нельзя. А у меня было ружье. Вот я зарядил ружье и пошел по берегу. Кого-нибудь подстрелю: на берегу в норах жили дикие кролики.

Вдруг, смотрю, на месте кроличьей норы большая дырка раскопана, как будто бы ход для большого зверя. Я скорее туда.

Я присел и заглянул в нору. Темно. А когда пригляделся, вижу: там в глубине два глаза светятся.

Что, думаю, за зверь такой завелся?

Я сорвал хворостинку — и в нору. А оттуда как зашипит!

Я назад попятился. Фу ты! Да это кошка!

Так вот куда кошки из города переехали!

Я стал звать:

— Кис-кис! Кисанька! — и просунул руку в нору.

А кисанька как заурчит, да таким зверем, что я

и руку отдернул.

Ну тебя, какая ты злая!

Я пошел дальше и увидел, что много кроличьих нор раскопано. Это кошки пришли из города, раскопали пошире кроличьи норы, кроликов выгнали и стали жить по-дикому.

IV

Я стал думать, как бы переманить кошку к себе в дом.

Вот раз я встретил кошку на берегу. Большая, серая, мордастая. Она, как увидела меня, отскочила в сторону и села. Злыми глазами на меня глядит. Вся напружилась, замерла, только хвост вздрагивает. Ждет, что я буду делать.

А я достал из кармана корку хлеба и бросил ей. Кошка глянула, куда корка упала, а сама ни с места. Опять на меня уставилась. Я обошел стороной и оглянулся: кошка прыгнула, схватила корку и побежала к себе домой, в нору.

Так мы с ней часто встречались, но кошка никогда меня к себе не подпускала. Раз в сумерки я ее принял за кролика и хотел уже стрелять.

V

Весной я начал рыбачить, и около моего дома запахло рыбой. Вдруг слышу — лает мой Рябчик. И смешно как-то лает: бестолково, на разные голоса, и подвизгивает. Я вышел и вижу: по весенней траве не торопясь шагает к моему дому большая серая кошка. Я сразу ее узнал. Она нисколько не боялась Рябчика, даже не глядела на него, а выбирала только, где бы ей посуше ступить. Кошка увидала меня, уселась и стала глядеть и облизываться. Я скорее побежал в дом, достал рыбешку и бросил.

Она схватила рыбу и прыгнула в траву. Мне с крыльца было видно, как она стала жадно жрать. Ага, думаю, давно рыбы не ела.

И стала с тех пор кошка ходить ко мне в гости.

Я все ее задабривал и уговаривал, чтобы перешла ко мне жить. А кошка все дичилась и близко к себе не подпускала. Сожрет рыбу и убежит. Как зверь.

Наконец мне удалось ее погладить, и зверь замурлыкал. Рябчик на нее не лаял, а только тянулся на цепи, скулил: ему очень хотелось познакомиться с кошкой.

Теперь кошка целыми днями вертелась около

дома, но жить в дом не хотела идти.

Один раз она не пошла ночевать к себе в нору, а осталась на ночь у Рябчика в будке. Рябчик совсем сжался в комок, чтобы дать место.

VI

Рябчик так скучал, что рад был кошке.

Раз шел дождь. Я смотрю из окна — лежит Рябка в луже около будки, весь мокрый, а в будку не лезет.

Я вышел и крикнул:

— Рябка! В будку!

Он встал, конфузливо помотал хвостом. Вертит мордой, топчется, а в будку не лезет.

Я подошел и заглянул в будку. Через весь пол важно растянулась кошка. Рябчик не хотел лезть, чтобы не разбудить кошку, и мок под дождем.

Он так любил, когда кошка приходила к нему в гости, что пробовал ее облизывать, как щенка. Кошка топорщилась и встряхивалась.

Я видел, как Рябчик лапами удерживал кошку, когда она, выспавшись, уходила по своим делам.

VII

А дела у ней были вот какие.

Раз слышу — будто ребенок плачет. Я выскочил, гляжу: катит Мурка с обрыва. В зубах у ней что-то болтается. Подбежал, смотрю — в зубах у Мурки крольчонок. Крольчонок дрыгал лапками и кричал, совсем как маленький ребенок. Я отнял его у кошки. Обменял у ней на рыбу. Кролик выходился и потом жил у меня в доме. Другой раз я застал Мурку, когда она уже доедала большого кролика. Рябка на цепи издали облизывался.

Против дома была яма с пол-аршина глубины. Вижу из окна: сидит Мурка в яме, вся в комок сжалась, глаза дикие, а никого кругом нет. Я стал следить.

Вдруг Мурка подскочила — я мигнуть не успел, а она уже рвет ласточку. Дело было к дождю, и ласточки реяли у самой земли. А в яме в засаде поджидала кошка. Часами сидела она вся на взводе, как курок: ждала, пока ласточка чиркнет над самой ямой. Хап! — и цапнет лапой на лету.

Другой раз я застал ее на море. Бурей выбросило на берег ракушки. Мурка осторожно ходила по мокрым камням и выгребала лапой ракушки на сухое место. Она их разгрызала, как орехи, морщилась и выедала слизняка.

VIII

Но вот пришла беда. На берегу появились беспризорные собаки. Они целой стаей носились по берегу, голодные, озверелые. С лаем, с визгом они пронеслись мимо нашего дома. Рябчик весь ощетинился, напрягся. Он глухо ворчал и зло смотрел. Володька схватил палку, а я бросился в дом за ружьем. Но собаки пронеслись мимо, и скоро их не стало слышно.

Рябчик долго не мог успокоиться: все ворчал и глядел, куда убежали собаки. А Мурка хоть бы что: она сидела на солнышке и важно мыла мордочку.

Я сказал Володе:

— Смотри, Мурка-то ничего не боится. Прибегут собаки — она прыг на столб и по столбу на крышу.

Володя говорит:

— А Рябчик в будку залезет и через дырку отгрызется от всякой собаки. А я в дом запрусь.

Нечего бояться.

Я ушел в город.

IX

А когда вернулся, то Володька рассказал мне:

— Как ты ушел, часу не прошло, вернулись дикие собаки. Штук восемь. Бросились на Мурку. А Мурка не стала убегать. У ней под стеной, в углу, ты знаешь, кладовая. Она туда зарывает объедки. У ней уж много там накоплено. Мурка бросилась в угол, зашипела, привстала на задние лапы и приготовила когти. Собаки сунулись, трое сразу. Мурка так заработала лапами — шерсть только от собак полетела. А они визжат, воют и уж одна через другую лезут, сверху карабкаются все к Мурке, к Мурке!

— А ты чего смотрел?

— Да я не смотрел. Я скорее в дом, схватил ружье и стал молотить изо всей силы по собакам прикладом, прикладом. Все в кашу замешалось. Я думал, от Мурки клочья одни останутся. Я уж тут бил по чем попало. Вот, смотри, весь приклад поколотил. Ругать не будешь?

— Ну, а Мурка-то, Мурка?

— А она сейчас у Рябки. Рябка ее зализывает. Они в будке.

Так и оказалось. Рябка свернулся кольцом, а в середине лежала Мурка. Рябка ее лизал и сердито

поглядел на меня. Видно, боялся, что я помешаю — унесу Мурку.

X

Через неделю Мурка совсем оправилась и принялась за охоту.

Вдруг ночью мы проснулись от страшного лая и визга.

Володька выскочил, кричит:

— Собаки, собаки!

Я схватил ружье и, как был, выскочил на крыльцо.

Целая куча собак возилась в углу. Они так ревели, что не слыхали, как я вышел.

Я выстрелил в воздух. Вся стая рванулась и без памяти кинулась прочь. Я выстрелил еще раз вдогонку. Рябка рвался на цепи, дергался с разбега, бесился, но не мог порвать цепи: ему хотелось броситься вслед собакам.

Я стал звать Мурку. Она урчала и приводила в порядок кладовую: закапывала лапкой разрытую ямку.

В комнате при свете я осмотрел кошку. Ее сильно покусали собаки, но раны были неопасные.

XI

Я заметил, что Мурка потолстела, — у ней скоро должны были родиться котята.

Я попробовал оставить ее на ночь в хате, но она мяукала и царапалась, так что пришлось ее выпустить.

Беспризорная кошка привыкла жить на воле и ни за что не хотела идти в дом.

Оставлять так кошку было нельзя. Видно, дикие собаки повадились к нам бегать. Прибегут, когда мы с Володей будем в море, и загрызут Мурку совсем. И вот мы решили увезти Мурку подальше и оставить жить у знакомых рыбаков. Мы посадили с собой в лодку кошку и поехали морем.

Далеко, за пятьдесят верст от нас, увезли мы Мурку. Туда собаки не забегут. Там жило много рыбаков. У них был невод. Они каждое утро и каждый вечер завозили невод в море и вытягивали его на берег. Рыбы у них всегда было много. Они очень обрадовались, когда мы им привезли Мурку. Сейчас же накормили ее рыбой до отвала. Я сказал, что кошка в дом жить не пойдет и что надо для нее сделать нору, — это не простая кошка, она из беспризорных и любит волю. Ей сделали из камыша домик, и Мурка осталась

стеречь невод от мышей.

А мы вернулись домой. Рябка долго выл и плаксиво лаял; лаял и на нас: куда мы дели кошку?

Мы долго не были на неводе и только осенью собрались к Мурке.

XII

Мы приехали утром, когда вытягивали невод. Море было совсем спокойное, как вода в блюдце. Невод уж подходил к концу, и на берег вытащили вместе с рыбой целую ватагу морских раков — крабов. Они, как крупные пауки, ловкие, быстро бегают и злые. Они становятся на дыбы и щелкают над головой клешнями: пугают. А если ухватят за палец, так держись: до крови. Вдруг я смотрю: среди всей этой кутерьмы спокойно идет наша Мурка. Она ловко откидывала крабов с дороги. Подцепит его лапой сзади, где он достать ее не может, и швырк прочь. Краб встает на дыбы, пыжится, лязгает клешнями, как собака зубами, а Мурка и внимания не обращает, отшвырнет, как камешек.

Четыре взрослых котенка следили за ней издали, но сами боялись и близко подойти к неводу. А Мурка залезла в воду, вошла по шею, только голова одна из воды торчит. Идет по дну, а от

головы вода расступается.

Кошка лапами нащупывала на дне мелкую рыбешку, что уходила из невода. Эти рыбки прячутся на дно, закапываются в песок — вот тут-то их и ловила Мурка. Нащупает лапкой, подцепит когтями и бросает на берег своим детям. А они уж совсем большие коты были, а боялись и ступить на мокрое. Мурка им приносила на сухой песок живую рыбу, и тогда они жрали и зло урчали. Подумаешь, какие охотники!

XIII

Рыбаки не могли нахвалиться Муркой:

— Ай да кошка! Боевая кошка! Ну, а дети не в мать пошли. Балбесы и лодыри. Рассядутся, как господа, и все им в рот подай. Вон, гляди, расселись как! Чисто свиньи. Ишь, развалились. Брысь, поганцы!

Рыбак замахнулся, а коты и не шевельнулись.

— Вот только из-за мамаши и терпим. Выгнать бы их надо.

Коты так обленились, что им лень было играть с мышью.

XIV

Я раз видел, как Мурка притащила им в зубах мышь. Она хотела их учить, как ловить мышей. Но коты лениво перебирали лапами и упускали мышь. Мурка бросалась вдогонку и снова приносила им. Но они и смотреть не хотели: валялись на солнышке по мягкому песку и ждали обеда, чтоб без хлопот наесться рыбьих головок.

— Ишь, мамашины сынки! — сказал Володька и бросил в них песком. — Смотреть противно. Вот вам!

Коты тряхнули ушами и перевалились на другой бок.

Лодыри!

Николай Сладков

Хитрющий зайчишка

В жизни не видал такого хитрого зайца!

Да и что сказать: не будь он так хитер, давно бы попал орлу в когти или кому-нибудь из хищных зверей в зубы.

Лисиц, волков, рысей здесь множество, и они переловили всех зайцев на этом склоне горы. Остался один — Рваные Ушки.

Уши нарвал ему беркут — горный орел — за неосторожность. С тех пор зайчишка и стал таким умным.

Беркут был молодой, неопытный. Старый орел падает прямо на спину зайцу и ломает ему хребет. Молодой догонял зайчишку — и проловил. Вцепился когтями в длинные заячьи уши.

Заяц на бегу вырвал свои уши из страшных орлиных когтей и — шмыг под камни.

Эти камни на склоне лежали грядкой, образуя собой как бы длинную трубу или нору: зайчишке под ней есть где пролезть, а лисе или орлу — никак.

Беркут сел перед входом, сунул в нору шею, а крылья его не пускают. Пришлось отказаться от добычи. Улетел другого зайца ловить — по-

глупее.

Зайцы не устраивают себе постоянных логовищ, как кролики. Кормятся они ночью.

Начнет светать — заяц поскачет, след свой запетляет, запутает, махнет с него в сторону и заляжет на весь день где-нибудь под камнем или кустиком.

Да не спасли эти хитрости, давно известные всем любителям зайчатины, других зайцев на этом открытом, безлесном склоне горы. Уцелел, говорю, один этот хитрющий зайчишка.

А почему уцелел? Потому что, вопреки всем заячьим обычаям, избрал себе постоянным логовом вот эту самую гряду камней, которая спасла его уже однажды от молодого беркута.

Не раз с тех пор охотились за ним и старые, опытные беркуты. Но зайчишка не отходил далеко от своих камней.

Нырк! — и спрятался под ними.

Пробовали ловить его и волки. Да куда им — таким здоровым-то — подлезть под камни. В кровь себе горбину стерли, а пришлось отступиться.

Пробовала ловить его и страшная рысь — большая пятнистая кошка с маленькой головой и гибким, как у змеи, телом. Во все дыры между камнями совала свой нос. Всюду под камнями

вкусно пахло зайчатиной, но ни раздвинуть камни, ни проскользнуть между ними она не могла.

На беду заячью, жили на той горе, как уже сказано, и лисицы.

Уж лисицы-то — самые хитрые звери и зайцев ловить — великие мастера.

Зиму зайчишка Рваные Ушки перезимовал у себя в камнях благополучно.

А весной, как стаял снег, увидали его лисицы: лис и лиска. Они в эту пору года дружно живут, детей выводят. Ну и, конечно, взялись за него вдвоем.

Зайчишка лежал на склоне — пузечко на солнце грел. А сам по сторонам косился: не грозит ли откуда опасность?

Лис к нему ну подкрадываться на согнутых лапках. Да не тут-то было!

Заметил зайчишка, вскочил… Лис за ним как кинется!

А Рваные Ушки прыг, скок — и дома.

Лис стал у входа в зайчишкину нору и ждет.

Рваные Ушки так делал: уйдет тот, кто его ловит, — он подождет немножко и выйдет наружу. Тут-то лис его и хотел схватить.

Но Рваные Ушки так испугался лиса, что пробежал всю длинную трубу, всю свою нору под

камнями и выскочил с другой стороны каменной гряды. Так он не раз спасался от волков и рыси. Для них хороша была эта хитрость, а вот для лисиц — не очень-то!

Лис только еще начал подкрадываться к зайчишке, а лиска уже со всех ног бежала к другому концу каменной гряды. Прибежала и стоит у выхода из норы, караулит.

Зайчишке с его умишком где уж про такое догадаться! Он и выскочил из норы — прямо на лиску!

Лиска в это время уже облизывалась: мечтала, как сейчас сладкой зайчатинкой полакомится.

И хорошо, что облизывалась: не успела она язык убрать, зайчишка верть налево кругом — и нырк назад в нору!

Тявкнула лиска с досады, а ничего не поделаешь: сама виновата. Остается только теперь обоим охотникам — лису и лиске — спрятаться и терпеливо дожидаться, когда зайчишка с той или другой стороны каменной гряды выскочит. Правильную осаду держать.

Вот и сидят лисицы: лис — у входа, лиска — у выхода; ждут.

А зайчишка Рваные Ушки, не будь глуп, взял да высунул голову из дырки между камнями посе-

редине гряды. Поглядел он в одну сторону — там лис караулит, за камень прячется. Поглядел в другую — там лиска за кустом сидит, караулит.

Видят и лисицы: высунутся вдруг посреди гряды длинные заячьи уши с черным пятнышком на конце, крутнет ими заяц в одну сторону, крутнет в другую — и опять уши спрячутся.

Поняли: надо снимать осаду. Видно, там у зайчишки между камнями трава растет. Закусывает он ею. Его и измором не возьмешь.

И ушли лисицы восвояси.

Вот до чего хитрющий зайчишка: двух лисиц провел и цел остался!

Серьезная птица

В лесу у болота колония цапель. Каких только цапель нет! Большие и маленькие: белые, серые, рыжие. И дневные, и ночные.

Разные цапли по росту и цвету, но все очень важные и серьезные. И больше всех важна и серьезна цапля-кваква.

Цапля-кваква — ночная. Днем она отдыхает на гнезде, а ночью ловит на болоте лягушат и рыбьих мальков.

Ночью на болоте ей хорошо — прохладно. А вот днем на гнезде — беда.

В лесу духота, солнце печет. Кваква сидит на краю гнезда, на самом припеке. Клюв от жары разинула, крылья широкие свесила — совсем разомлела. И дышит тяжело, с хрипом.

Подивился я: серьезная на вид птица, а такая глупая! В тень спрятаться — и на то ума не хватает. И гнездо построила кое-как — у птенцов ноги в щели проваливаются.

Жара. Хрипит на припеке, разинув клюв, кваква. Медленно движется по небу солнце. Медленно передвигается по краю гнезда кваква…

И вдруг кровь ударила мне в лицо — так стало

стыдно. Ведь кваква телом своим птенцов от жгучего солнца закрывала!

Птенцам ни холодно, ни жарко: сверху тень, снизу в щели гнезда ветерок поддувает. Сложили они длинные носы свои один на другого, ноги в щели свесили и спят. А как проснутся и есть запросят, кваква полетит на болото ловить им лягушат и мальков. Накормит птенцов и опять на гнездо сядет. Носом по сторонам водит — караулит.

Серьезная птица!

Синичка необыкновенная

Звонкоголосую и белощекую нашу синицу называют большой или обыкновенной. Что большая, я с этим согласен: она больше других синиц — пухляков, московок, лазоревок. Но что она обыкновенная, с этим я не могу согласиться!

Она поразила меня с первой же встречи. А было это давным-давно. Она попалась в мой западок. Я взял ее в руку, и она… умерла! Только что была живая и резвая, щипала с вывертами за пальцы — и вот умерла. Я растерянно разжал руку. Синичка неподвижно лежала на раскрытой ладони вверх лапками, и глаза затянулись белым. Я подержал ее, подержал — и положил на пенек. И только руку отвел — синичка вскрикнула и улетела!

Какая же она обыкновенная, если такая необыкновенная обманщица! Захочет — умрет, захочет — воскреснет.

Потом я узнал, что многие птицы впадают в какое-то странное оцепенение, если их положить спинкой вниз. Но у синички это получается лучше всех и часто спасает ее от неволи.

Новый голосок

Три яичка лежали в гнезде чайки: два неподвижно, а третье шевелилось. Третьему не терпелось, оно даже посвистывало! Будь его воля, оно бы так и выскочило из гнезда и, как колобок, покатилось бы по бережку!

Возилось яичко, возилось и стало тихонько похрустывать. Выкрошилась на тупом конце дырочка. И в дырочку, как в оконце, высунулся птичий нос.

Птичий нос — это и рот. Рот открылся от удивления. Еще бы: стало вдруг в яйце светло и свежо. Глухие доселе звуки зазвучали властно и громко. Незнакомый мир ворвался в уютное и скрытое жилище птенца. И чайчонок на миг оробел: может, не стоит совать свой нос в этот неведомый мир?

Но солнце грело ласково, глаза привыкли к яркому свету. Качались зеленые травинки, плескали ленивые волны.

Чайчонок уперся лапками в пол, а головой в потолок, нажал, и скорлупа расселась. Чайчонок так испугался, что громко, во все горло крикнул: «Мама!»

Так в нашем мире одной чайкой стало больше. В хоре голосов, голосищ и голосишек зазвучал новый голосок. Был он робок и тих, как писк комара. Но он звучал, и его слышали все.

Чайчонок встал на дрожащие ножки, поерзал шерстинками крыльев и смело шагнул вперед: вода так вода!

Минует ли он грозных щук и выдр? Или путь его оборвется на клыках первой же хитрой лисы?

Крылья матери-чайки распластались над ним, как руки, готовые прикрыть от невзгод.

Покатил в жизнь пушистенький колобок.

Карлуха

Карлуха — вороненок. Живет он во дворе. Тут он делает все что хочет. А больше всего он хочет — прятать.

Прячет все, что только в клюв попадет. Корка попадет — корку спрячет, кожура от колбасы — кожуру, камешек — камешек. Прячет он так. Шагает и по сторонам смотрит, а как высмотрит местечко укромное — тык в него носом! Положит и сверху травой прикроет. Оглядится — никто не видел? — и опять пошагает. Еще что-нибудь прятать.

Раз он пуговицу прятал.

Сунул ее в самую густую траву. Ромашки там росли, колокольчики, колоски разные и метелки. Стал пуговицу травой прикрывать. Пригнул колосок, а колосок распрямился. Метелочку пригнул — и метелочка выпрямилась. Ромашку наклонил — и ромашка поднялась. Колокольчик согнул — и колокольчик поднялся! Старался-старался, прятал-прятал, а пуговица сверху лежит. Вот она. У всех на виду. Любая сорока украдет.

Растерялся Карлуха. Даже крикнул от удивления. Забрал свою пуговицу и на новое место

пошагал прятать.

Сунул в траву, колосок пригнул — а тот распрямился. Колокольчик нагнул — а тот поднялся!

А сороки уже близко в кустах тарахтят, прямо как спички в коробке. Вот-вот пуговицу увидят. Скорей запихнул Карлуха ее под кирпич. Побежал, щепочку принес, заткнул дырочку. Моху нащипал — все щелочки законопатил. Камешек сбоку привалил. И для верности еще и сам сверху на кирпич сел.

А сороки нахальные все равно тарахтят! Уж, наверное, замышляют что-то.

Карлуха сердится. Ромашку сорвал, лапой прижал, клювом лепестки ощипывает — так и летят во все стороны. А мне со стороны кажется, что он на ромашке гадает: украдут — не украдут, украдут — не украдут?

И все-таки пуговицу ту сороки у Карлухи украли.

Константин Паустовский

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные,

вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет.

— Не умрет, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке свому, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петро-

вича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремитель-

но и сильно били в луга; далеко за полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во

дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен

широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости.

Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но

однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и

зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос…

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не

могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Резиновая лодка

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканием; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и

толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше, чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутится!

После испытания дед, по прозвищу «Десять процентов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всег-да случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему

мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то так тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.

Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три

рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух, Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго

смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора; нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом

заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безыменном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело

смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарос-

лей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

Собрание чудес

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвешься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семен. — Чего не видал? Народ какой пошел суетливый, хваткий, господи! Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоем. И более ничего!

— А ты там был?

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семен постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я все-таки пошел на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек, — Ленька и Ваня. Не успели мы выйти за околицу, как тотчас

обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани. Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идет. На сколько он, по-вашему, тянет?

— Откуда я знаю!

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Ленька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Ленька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Небось не мои!

— Ты смотри!

— Сам смотри!

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь!

Схватка была короткая, но решительная, Ленька подобрал картуз, сплюнул и пошел, обиженный, обратно в деревню.

Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Ленькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на все цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведет весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— Это почему же?

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное

движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зернышками, сухими лапками жуков, мертвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький-махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с черной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки. Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с

пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его черных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы, — избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живет. Тоже имеет свое назначение.

Ваня засмеялся.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Еще мало учен, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

— Был да сплыл. А делов понаделал таких, что до сих пор нам икается. Свирепый был господин. Солдат на параде не в ту сторону глаза скосил, — он сейчас распаляется и начинает греметь: «В Сибирь! На каторгу! Триста шомполов!» Вот какой был царь! Ну и вышло такое дело, — полк гренадерский ему не угодил. Он и кричит: «Шагом

марш в указанном направлении за тыщу верст! Походом! А через тыщу верст стать на вечный постой!» И показывает перстом направление. Ну, полк, конечно, поворотился и зашагал. Что сделаешь! Шагали-шагали три месяца и дошагали до этого места. Кругом лес непролазный. Одна дебрь. Остановились, стали избы рубить, глину мять, класть печи, рыть колодцы. Построили деревню и прозвали ее Полково, в знак того, что целый полк ее строил и в ней обитал. Потом, конечно, пришло освобождение, да солдаты прижились к этой местности, и, почитай, все здесь и остались. Местность, сам видишь, благодатная. Были те солдаты — гренадеры и великаны — наши пращуры. От них и наш рост. Ежели не веришь, езжай в город, в музей. Там тебе бумаги покажут. В них все прописано. И ты подумай, — еще бы две версты им прошагать и вышли бы к реке, там бы и стали постоем. Так нет, не посмели ослушаться приказа, — точно остановились. Народ до сих пор удивляется. «Чего это вы, говорят, полковские, вперлись в лес? Не было вам, что ли, места у реки? Страшенные, говорят, верзилы, а догадки в башке, видать, маловато». Ну, объяснишь им, как было дело, тогда соглашаются. «Против приказа, говорят, не попрешь! Это факт!»

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились березами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового еще шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдем, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько темных больших стволов. Они поблескивали слабым и

темным огнем, когда до них добиралось солнце.

— Черный дуб, — сказал Лялин. — Мореный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжелое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в темной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из черной стали. А над водой, отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упретесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдет тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушел. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался все выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были еще видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим веселым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней березовое и осиновое мелколесье. Де-

ревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие желтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки. В конце тропы черной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, — остатки березовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щечка у каждой ягоды — та, что повернута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь. Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплескивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утенок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была черная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Я согласился. Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слы-

шали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и все, что я хотел рассказать. Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких

травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька

потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на

нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом».

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара

что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера.

Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Грач в троллейбусе

Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам — по туману на московских улицах, по каплям этого тумана, стекающим с черных веток недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом асфальте его уже давно нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город.

Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять.

Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от остановки на Театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула:

— Погодите! Что же это такое?

— Это грач, — испуганно сказала девочка лет восьми.

Грач сидел, угревшись, под пальто на груди у девочки и только на минуту высунул из-под пальто свой нос. Но этого было достаточно, чтобы бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке.

— Если его нельзя везти, так я слезу, — сказала девочка и покраснела.

— Что ты, дочка! — воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке. — Сиди, не беспокойся. Ой, какая птаха хорошая! Что это? Неужели грач?

Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точеной головке и засмеялась.

— Не бойтесь, он не кусается, — сказала девочка и вся засияла. — Он очень серьезный, но добрый.

— Какой же это грач, — сказал старик с картонной папкой, — когда это скворец.

— А вы, гражданин, если не знаете облика птиц, так не утверждайте, — ответил пожилой человек в форме железнодорожника.

— Где нам в Москве знать про птиц, — вздохнула старуха в платке. — Нам что грач, что скворец, что воробей или стриж — все равно.

Пассажиры начали вставать, тесниться около девочки. Каждый пытался погладить грача. Грач

гладить себя давал, но посматривал на всех презрительно и высокомерно.

Сквозь толпу с трудом продирался от выходной двери назад плотный суровый генерал.

— Куда это вы, товарищ генерал, — заметил худой юноша без кепки, — против течения?

— А я к грачу, молодой человек, — ответил генерал и повторил внушительным голосом: — К гра-чу!

Генерал протискался к девочке, взял у нее грача, подержал его на ладони, как бы взвешивая, возвратил девочке и сказал:

— Куда же ты его везешь?

— В Зоопарк. Там я его выпущу.

— У нас на реке Сейме, — неожиданно сказал молоденький лейтенант и почтительно посмотрел на генерала, — настоящее пернатое царство. Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у нее нет. А у нас — соловьи. Мировые соловьи. Весной наш край по ночам весь поет.

— Вы про профессора Мантейфеля слышали? — спросил генерал лейтенанта.

— Так точно, слышал, товарищ генерал!

— Каждую птичью повадку знает. И может объяснить. Ну, а насчет всяких колен, пересвистов, перезвонов, трелей, чохов и всей прочей птичьей

музыки нет такого другого знатока и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик!

— Вы здесь сходите? — спросила генерала молодая женщина со смеющимися глазами. — Или остаетесь?

— Я на следующей остановке сойду, — ответил генерал, нисколько не смущаясь вопросом молодой женщины. — Подумаешь, важность — пройти два квартала обратно. Я, знаете, был свидетелем удивительной одной истории. Под Ленинградом во время войны. Весной это было. Прилетели скворцы и вьются, кричат над своими скворечнями. А скворечни, как на грех, в пустой полосе между нами и фашистами. Так те открыли по скворцам огонь из автоматов. Их, видите ли, беспокоил крик скворцов. Нервные попались молодчики. Тогда не выдержало у наших сердце. «Ах так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что те мигом затихли.

— Вступились, значит, за скворцов, — сказала кондукторша. — Так я и подумала, как только вы начали рассказывать, товарищ генерал.

— А как же! Ведь скворец с древних времен сопутствует русскому человеку.

— Кондуктор! — крикнул сердитый голос. — Почему не даете билетов?

— Сейчас, — ответила недовольно кондукторша. Она все еще стояла около девочки и гладила грача по голове. — Сердца никакого нет у людей!

— А вы потише, гражданин, — сказала старуха недовольному пассажиру.

— Весна, значит, скоро, — вздохнул железнодорожник. — Черемуха зацветет. И полетят птицы над Россией, понесут свои песни.

— Ну, мне все-таки пора выходить, — сказал генерал. — До свидания, товарищи!

Все попрощались с генералом. Он вышел, чему-то улыбаясь, и так, улыбаясь, и пошел по улице к давно пропущенной остановке.

А пассажиры еще долго говорили о граче — предвестнике весны, о картине Саврасова «Грачи прилетели», о том, что Москва постепенно превращается в сад, где будет привольно всякой птице, и скоро весь город будет с утра до ночи звенеть от птичьего пения.

— Как это удивительно у нас получается, — сказал старик с картонной папкой. — Правительство заботится о благе людей, а от этого блага, глядишь, и перепадет кое-что даже певчим птахам.

— Так и должно получаться, — убежденно ответил худой юноша без кепки.

— Истинно так! — сказала старуха в платке. — Я

это по себе знаю.

Но тут уже начинается другая история, которую я расскажу как-нибудь позже.

Геннадий Снегирев

Куколка

Однажды я гулял в лесу. Было тихо, только дятел где-то долбил дерево да синицы попискивали. И трава и ветки на деревьях были белые от инея. Вода в речке была черная. Я стоял на берегу, смотрел, как белые снежинки тают в черной воде, и думал: «А где же теперь рыбы? А летучая мышь? А бабочки? Рыбы сидят в ямах на дне. Летучая мышь где-нибудь в дупле спит. А бабочки зимой не могут спать: они маленькие и нежные, сразу замерзнут». И я стал искать бабочек. Пускай не живых, а которые от холода умерли. И в траве смотрел. И норку мышиную раскопал, нашел там крылышко от жука. И под кочкой искал. Нигде нет мертвых бабочек.

Под соснами, во мху, остался гриб, весь сморщенный. Я его стал выкапывать и в земле нашел коричневую, вроде сучка, куколку. Только на сучок она не похожа. Она похожа на бабочку без крыльев, без ножек и твердая.

Дома я показал куколку отцу. Он спросил, где я ее нашел. Я сказал, что под сосной.

— Это соснового шелкопряда куколка, — сказал отец.

Я спросил:

— Она совсем мертвая?

— Нет, не совсем. Была живая, сейчас мертвая, а весной… увидишь.

Я очень удивился: «Была живая, сейчас мертвая, а весной… Разве мертвые оживают?»

Куколку я положил в спичечную коробку, а коробку спрятал под кровать и забыл про нее.

Весной, когда снег растаял и лес стал зеленый, я проснулся утром и слышу: кто-то шуршит под кроватью. Я подумал: мышь. Посмотрел под кровать, там мыши нет, только спичечная коробка валяется. В коробке кто-то шуршит, шелестит. Я открыл коробку. Из нее вылетела золотистая, как сосновая чешуйка, бабочка. Я даже не успел ее поймать. Я не понял, откуда она. Ведь в коробке была мертвая куколка, твердая, как сучок.

Бабочка вылетела в окно и полетела к соснам на берегу реки. В лесу пели птицы, пахло травой, кричал петух, а я смотрел на пустую спичечную коробку и думал: «Она же была мертвая, мертвая!»

Ука

Пошел я на болото собирать клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко: из-за леса выглядывает, вот-вот скроется.

Спина устала немножко, распрямился я, смотрю — пролетела цапля. Наверно, спать. Она на болоте давно живет, я ее всегда вижу, когда она пролетает.

Солнце уже зашло, а светло еще, небо на том месте красное-красное. Тихо вокруг, только кто-то кричит в камышах, не очень громко, а слышно далеко: «Ук!» Подождет немножко и опять: «Ук!»

Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. А сейчас мне как-то любопытно стало: может, это цапля так кричит?

Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а никого нет. Темно скоро будет. Пора домой. Только немного прошел — и вдруг кричать перестало, не слышно больше.

«Ага, — думаю, — значит, здесь!» Притаился я, стою тихо-тихо, чтоб не спугнуть. Долго стоял, наконец на кочке, совсем рядом, откликнулось:

«Ук!» — и опять тишина.

Присел я, чтоб получше разглядеть, смотрю — лягушечка сидит и не шевелится. Маленькая совсем, а кричит так громко!

Поймал я ее, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у нее серая, а брюшко красно-красное, как небо над лесом, где зашло солнце. Посадил я ее в карман, корзиночку с клюквой взял и пошел домой. В окнах у нас свет зажгли. Наверно, сели ужинать.

Пришел я домой, дедушка меня спрашивает:

— Куда ходил?

— Ловил укалку.

Он не понимает.

— Что, — говорит, — за укалка такая?

Полез я в карман, чтоб ее показать, а карман пустой, только немножко мокрый. «У, — думаю, — противная ука! Хотел ее дедушке показать, а она убежала!»

— Дедушка, — говорю, — ну, знаешь, ука такая — она вечером всегда на болоте кричит, с красным животом.

Дедушка не понимает.

— Садись, — говорит, — ешь да спать ложись, завтра разберемся.

Встал я утром и весь день ходил, все про уку

думал: вернулась она не болото или нет?

Вечером пошел я опять на то же место, где поймал уку. Долго стоял, все слушал: не закричит ли.

Наконец тихонько: «Ук!» — где-то сзади крикнула и опять стала кричать. Я ее искал, искал, так и не нашел. Подойдешь поближе — молчит. Отойдешь — опять начинает. Наверно, она спряталась под кочку.

Надоело мне ее искать, пошел я домой.

Зато теперь-то я знаю, кто на болоте вечером так громко укает. Не цапля это, а маленькая ука с красным животиком.

Бабочка на снегу

Когда я вышел из избушки, то ружье зарядил мелкой дробью. Думал, рябчика встречу — подстрелю на обед.

Тихо иду, стараюсь, чтобы снег под валенками не скрипел. Вокруг елки мохнатым инеем покрыты, как бородой.

Вышел я на полянку, смотрю — впереди под елкой что-то черненькое.

Поближе подошел — а это коричневая бабочка сидит на снегу.

Вокруг сугробы намело, мороз трещит — и вдруг бабочка!

Повесил я ружье на плечо, снял шапку и стал еще ближе подходить, хотел ее накрыть шапкой.

И тут снег у меня под ногами взорвался — порх-порх! — и три рябчика вылетели.

Пока я снимал ружье, они скрылись в елках. Остались от рябчиков только ямки на снегу.

Походил я по лесу, поискал, да разве теперь их найдешь.

Притаились на елках, сидят и надо мной смеются.

Как это я рябчиный хохолок за бабочку при-

нял?

Это же рябчик высунул головку из-под снега, чтобы за мной подглядывать.

В другой раз не буду зимой бабочек ловить.

Ночные колокольчики

Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он есть траву, как стоит неподвижно и прислушивается к лесной тишине.

Однажды я подошел к оленихе с олененком, но они почуяли меня и убежали в красные осенние травы. Я узнал это по следам: следы в болоте на моих глазах наполнялись водой. Слышал, как трубят олени по ночам. Где-нибудь далеко протрубит олень, а по реке доносит эхом, и кажется — совсем рядом.

Наконец в горах я набрел на оленью тропу. Олени протоптали ее к одинокому кедру. Земля у кедра была соленая, и олени приходили ночью лизать соль.

Я спрятался за камнем и стал ждать. Ночью светила луна и был мороз. Я задремал.

Проснулся я от тихого звона. Как будто звенели стеклянные колокольчики. По тропе мимо меня шел олень. Я так и не рассмотрел оленя, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у него под копытами.

За ночь от мороза выросли тонкие ледяные стебельки. Они росли прямо из земли. Олень

разбивал их копытами, и они звенели, как стеклянные колокольчики.

Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли.

Бобренок

Весной снег быстро растаял, вода поднялась и затопила бобровую хатку.

Бобры перетащили бобрят на сухие листья, но вода подобралась еще выше, и пришлось бобрятам расплываться в разные стороны.

Самый маленький бобренок выбился из сил и стал тонуть.

Я заметил его и вытащил из воды. Думал, водяная крыса, а потом вижу — хвост лопаточкой, и догадался, что это бобренок.

Дома он долго чистился и сушился, потом нашел веник за печкой, уселся на задние лапки, передними взял прутик от веника и стал его грызть.

После еды бобренок собрал все палочки и листики, подгреб под себя и уснул.

Послушал я, как бобренок во сне сопит. «Вот, — думаю, — какой спокойный зверек: можно его одного оставить, ничего не случится!»

Запер бобренка в избе и пошел в лес.

Всю ночь я бродил по лесу с ружьем, а утром вернулся домой, открыл дверь, и…

Что же это такое? Как будто я в столярную ма-

стерскую попал!

По всему полу белые стружки валяются, а у стола ножка тонкая-тонкая: бобренок ее со всех сторон подгрыз. А сам спрятался за печку.

За ночь вода спала. Посадил я бобренка в мешок и поскорее отнес к реке.

С тех пор как встречу в лесу поваленное бобрами дерево, так сразу вспоминаю про бобренка, который подгрыз мой стол.

Белёк

Куда ни глянешь, вокруг одни льды. Белые, зеленоватые, блестящие на солнце. Я стал вглядываться в узкую полоску воды, которую разрезал во льдах наш корабль.

И вдруг я увидел два черных глаза. Они смотрели на меня со льдины, медленно проплывавшей мимо.

— Стой! Стой! Кто-то за бортом! — закричал я.

Корабль замедлил ход и остановился. Пришлось спустить шлюпку и вернуться к льдине.

Льдина была покрыта искрящимся снегом. И на снегу, как на одеяле, лежал белёк — детеныш тюленя.

Тюлени оставляют своих малышей на льду, и только утром приплывает к бельку мать, покормит молоком и опять уплывает, а он весь день лежит на льдине, весь белый, мягкий, как плюшевый. И если бы не большие черные глаза, я его не заметил бы.

Положили белька на палубу и поплыли дальше.

Я принес ему бутылочку молока, но белёк пить не стал, а пополз к борту. Я оттащил его обратно,

и вдруг из его глаз покатилась сначала одна слеза, потом вторая, и так и посыпали градом. Белёк молча плакал. Матросы зашумели и сказали, что надо скорее положить его на ту льдину. Пошли к капитану. Капитан поворчал-поворчал, но все же развернул корабль. Льды еще не сомкнулись, и по водяной дорожке мы пришли на старое место. Там белька снова положили на снежное одеяло, только на другую льдину. Он почти перестал плакать. Наш корабль поплыл дальше.

Юрий Коваль

Сороки

С улицы послышался крик, треск и хохот.

Я подбежал к окну и увидел, что около дома катается по земле клубок, из которого торчат хвосты и перья.

Дрались две сороки. Лупили друг друга крыльями, царапались и кричали. А третья сидела на крыше сарая и наблюдала.

— Вы что! — крикнул я в форточку. — Взбесились?!

Напугавшись, одна сорока сразу улетела на крышу сарая, а другая осталась лежать на земле.

Я вышел на улицу поглядеть — жива ли?

Приподнявшись, она недовольно зашипела — тебя, дескать, тут не хватало. Волоча крылья, кое-как проковыляла она по земле, с трудом поднялась в воздух и тоже села на крышу сарая.

Те две другие сразу закричали, застрекотали:

— Проваливай! Проваливай!

Побитая сорока пыталась объясниться, но ее и слушать не хотели — гнали прочь.

Тут я понял, что это два сорочьих жениха дрались из-за невесты и победитель прогонял теперь побежденного.

Чуть не плача, полетел неудачный жених к лесу и низко летел над землей, вот-вот собираясь опуститься.

Но над лесом сорочун повыше поднялся в небо, веселей замахал крыльями. Оглянувшись в последний раз, он застрекотал и полетел теперь совсем уж свободно и как будто даже радовался, что так получилось.

Про чайку и чибиса

Меня не любят чайки.

Когда прохожу я по берегу озера — стараются уплыть подальше. А летят надо мной — кричат недовольно.

Когда-то, лет двадцать назад, на охоте я убил чайку. А зачем это сделал — сейчас и сам не пойму, дурак был. Чайки, видно, запомнили, что я дурак, и думают — до сих пор не изменился. Обидно мне стало, потому что, по-моему, я все-таки изменился.

Стал думать, а как другие-то птицы относятся ко мне.

Дятлы уважают, и я их тоже. Воробьи и синицы как будто относятся неплохо — зимой я подкармливаю их салом и коноплей.

Скворцы и ласточки-касатки, конечно, любят, потому что любят всех людей.

А чибисы?

Иду как-то по дороге, а на пашне — чибис.

Увидел меня и давай метаться, хлопать крыльями над головой, кричать.

«Что ж такое? — подумал я. — Неужто и он помнит про ту чайку?»

Когда я отошел подальше, чибис опустился на землю и пошел пешком по пашне к своим детям. Ему было наплевать на меня, только что прошедшего мимо.

Виктор Астафьев

Стрижонок Скрип

Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она так же стучала, перед тем как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц.

А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал ее стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сестры.

Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружней запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далекое пятнышко света потухло. Стри-

жата притихли.

— Скрип! — послышалось издалека.

«Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу — первому стрижонку.

Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Еще, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама-стрижиха. Сейчас, дескать, сейчас.

И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва.

И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал:

— Скрип! — и даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку.

Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама при-

несла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком.

Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее, ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме-стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой.

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали.

За это Скрипу попадало от мамы-стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях.

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет.

Боязно!

Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз.

Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки — и раз-раз его клювом по голове. Сказала сердито:

— Скрип-скрип! — и еще по голове, и еще по голове.

Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно била Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама-стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей!

Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подхо-

дит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка.

Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу!». Тогда мама-стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.

И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом — разбойником соколом.

Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей — Белое брюшко — дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама-стрижиха еще гналась за коршуном, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам.

Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев

кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло…

Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал ее. И братцы и сестренки тоже звали. Мама-стрижиха не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестренками без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется.

Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью к ним нырнул вожак Белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведалась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белое брюшко.

Выросли стрижата. Не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился в норке вожак

Белое брюшко. Вместо того чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу.

Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и… полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип! — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. — Скрип! Скрип!

«А если я упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спи-

кировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком.

А потом Скрип и сам стал помогать стрижам — вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал:

— Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!..

И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет.

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь?

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно. В норке лучше.

И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде; снова возвращался к яру и опять

клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще не глубокую норку.

Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами!

Но ничего попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул:

— Тиу!

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели — молодой еще.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмеш-

ливо думал: «Шалишь, братцы мальчишки! И вообще совесть надо иметь!»

Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете, вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко.

— Тиу! — крикнул вожак.

В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет.

Взмыл Скрип и видит: все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу! — звал вожак.

И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю.

— Скрип! Скрип! — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свидания! — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку! — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собою лето.

Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает.

Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!

Милаха и кот Громило

Свирепее, прожорливее и коварнее всех вредителей на птицеферме была крыса с желтоватой, будто подпаленной шерстью на спине и с коротким хвостом. Должно быть, еще во времена разгульной молодости она лишилась половины хвоста — может быть, оторвали его крысы в драке, а может быть, в капкане оставила.

Эта крыса держала в страхе всех обитателей птичника. Мыши разбегались по сторонам, когда появлялась среди них толстая мордатая особа. Она была грозной владычицей темного царства, которое наперекор всем законам существовало под полом. Дядя Кузя слышал иногда шум, возню под половицами. Шум этот перекрывался властным визгливым голосом. После драки по углам долго и жалобно скулили крысы.

Куцехвостую крысу дядя Кузя прозвал Милахой.

Со стороны могло показаться, что отношения дяди Кузи и Милахи самые любезные и мирные. Но это лишь со стороны. На самом же деле они люто ненавидели друг друга. Милаха ненавидела дядю Кузю за то, что он подрывал ее авторитет

в крысином коллективе. А дядя Кузя ненавидел грозную атаманшу за то, что вот уже много лет она вместе со своей шайкой безнаказанно грабила колхоз. Шайка с каждым днем увеличивалась, а сама Милаха становилась наглей и развязней.

Отраву крысы не трогали. Видимо, их предводительница знала, что значит эта коричневая, с виду аппетитная масса. В капканы попадали только глупые мышки. Дядя Кузя понимал, что вся беда в Милахе. Стоит лишить банду главаря, в ней начнутся разлады, и она неминуемо погибнет.

Когда дядя Кузя приходил кормить кур, вся крысиная и мышиная семья рассыпалась по углам, шмыгала в норы и затихала. Но Милаха спокойно бегала по птичнику, ела из корытцев, не обращая ни малейшего внимания на старика.

— Кушаешь? — сдавленным голосом спрашивал дядя Кузя. — Ну-ну, кушай, гуляй, может, и подавишься.

Милаха переставала есть, поворачивала голову на голос и злобно ощеривалась.

Старик принимался собирать яйца из ящиков и как будто ненароком подвигался с автояйцесборочным агрегатом к Милахе. Но тактика эта была настолько стара и примитивна, что крыса

даже не торопилась исчезать. Когда расстояние между нею и дядей Кузей сокращалось шагов до пяти, она не спеша, нахально повиливая толстым задом, уходила в нору. Там сию же минуту раздавался жалобный писк. Милаха срывала злобу на «подчиненных» и для острастки или по каким другим соображениям кусала их.

А дядя Кузя, ударив об пол шапчонку, топал ногами, плевался, воздевал руки к потолку, призывая бога, боженят и всю «небесную канцелярию» или его успокоить смертью христианской, или покарать «нечистую силу».

Но вот перебрался дядя Кузя со своей неспокойной «публикой», как он называл кур и петухов, в новое здание птицефермы и облегченно вздохнул. Все! Ушел от прожорливой банды. Однако дядя Кузя поспешил успокоиться. Уже через три дня он услышал под полом беготню, резкий и, как показалось старику, озабоченный голос Милахи. Дядя Кузя чуть не заплакал от бессильной ярости.

А ночью по всему птичнику разносился треск, шорох, скрежет. Это многочисленные хищники, возглавляемые Милахой, грызли пол, копали норы, устраивались в новом помещении со всеми удобствами. Они сильно изголодались за

последние дни, да и работа оказалась тяжелая: пришлось грызть крепкие половицы и бревна. Ворвавшись в новый птичник, мыши источили овес в бочках и ящиках, оставив вместо него мякину. Крысы загрызли насмерть несколько больных кур. А в скором времени обнаружилось, что они губят не только птицу.

Как-то вечером сходил дядя Кузя в баню, попарился и, усталый, разомлевший, побрел к себе на птичник. Здесь он подстриг усы ножницами и причесал вихры перед кругленьким зеркальцем, выключил радио, прилег на кровать и задремал.

Разбудил его какой-то подозрительный шорох.

Дядя Кузя подумал, что это по стенам бегают мыши. Они любят из пазов выдергивать мох и делать там потайные ходы и лазейки. Но вместо мышей дядя Кузя увидел Милаху. Она торопливо забралась по стене в нижний ящик, один из тех, куда дядя Кузя выкладывал яйца из агрегата, перед тем как сдать их в кладовую колхоза. Милаха обнюхала яйца и, ухватив одно из них лапами, потащила к краю.

Дядя Кузя притворился спящим: прикрыл глаза и стал даже похрапывать. Милаха осмотрелась, пошевелила седыми усами, прикинула расстояние до пола и вдруг, повернувшись, упала на

спину. Удержать яйцо она не сумела и выпустила его из лап. Яйцо треснуло и разбилось.

Дядя Кузя думал, что это только и нужно крысе, но ошибся. Она что-то посоображала и проворно юркнула под пол.

Через минуту атаманша появилась в сопровождении трех «подчиненных». Они легли на спины в ряд, а Милаха забралась в ящик, подкатила к краю яйцо, прицелилась и сбросила его на мягкие животы крыс. Те вскочили и моментально укатили яйцо под пол.

Вскоре они вернулись, и все повторилось сначала.

Дядя Кузя не выдержал:

— Ловко, в чаю плавает веревка!

Крысы бросились врассыпную, оставив на полу яйцо. Дядя Кузя взял его в руки, осмотрел и задумался. Он давно подозревал, что крысы таскают яйца, но как они это делают, ни разу не видел.

Утром дядя Кузя пошел в правление колхоза, чтобы рассказать о проделках крыс. Здесь любили слушать о происшествиях на птицеферме и часто спрашивали старика:

— Ну, как там Милаха твоя поживает?

Тот всегда со смешком отвечал:

— Живет, колхозный хлеб жует, что ей?

Но в этот раз дядя Кузя был хмур и на обычный веселый вопрос отозвался без смеха:

— Она живет и не один хлеб жует.

Сообщению многие не поверили. Однако нашлись люди, которые начали рассказывать о крысах еще более занятные истории, например, о том, как в одном магазине крысы через соломинку выпили красное вино из бочки, а милиция обвинила в этом завмага… Словом, разговор пошел интересный, но дядя Кузя, к удивлению всех, не поддержал его и даже резко оборвал:

— Надо подумать, как колхозное добро сохранить, а вы сказками занимаетесь.

— Ну-у, это не по совести, тебе врать не мешали, — обиделись рассказчики.

Тогда дядя Кузя взорвался: раз так, больше он на этот проклятый птичник не пойдет, а пусть туда отправляется председатель. Милаха со своей компанией быстро доведет его до припадков. Уж на что он, дядя Кузя, железный человек, а нервы и у него до того расшатались, что он за себя порой не ручается. В подтверждение этого дядя Кузя так хватил дверью, что со стола бухгалтера упала чернильница.

Днем на птичник заглянул председатель колхоза. Дядя Кузя показал ему разбитое яйцо,

испорченный пол, множество нор. Под конец пожаловался, что свои харчишки вынужден уносить на улицу и есть мерзлый хлеб. А с его зубами и свежий не разжуешь. Председатель первый раз слышал от дяди Кузи жалобу на «личное» и поэтому изумился:

— Да это и в самом деле беда! — И, подумав, предложил: — Слушай, возьми хоть на время нашу Муську, она, правда, ленива, но, говорят, крысы, а особенно мыши, кошачьего запаха боятся.

Председателева кошка Муська оказалась не только ленивой, но и трусливой. Она не выдержала на птичнике и одной ночи.

Сначала она принюхивалась, хвостом помахивала. Но вот стемнело, подняли крысы возню под полом, завизжали, забегали.

Муська — под кровать.

Однако и там ей показалось жутковато. Она прыгнула к дяде Кузе на постель, но была с презрением вышвырнута оттуда.

Дядя Кузя ругал ее последними словами, а председателя нещадно срамил за то, что тот держит в доме такую бесполезную скотину и вырастил на колхозных хлебах буржуйскую барыню.

Утром Муська подошла к двери и замяукала:

отпустите, мол, ради бога, тут пропадешь! Дядя Кузя открыл дверь, пнул напоследок гладкую кошку и плюнул ей вдогонку.

Вскоре дядя Кузя поехал в город на рынок и увидел там бездомного тощего кота, с одним ухом и дикими глазами.

Кот шлялся по рынку, учинял дерзкие налеты на мясные ряды и на глазах у публики схватил воробья, дремавшего под крышей молочного павильона.

Люди махали руками, топали, пытались устрашить бродягу.

Кот устроился на перекладинке, и оттуда на головы базарных торговок полетели перья.

Съев птичку, кот утерся лапой и занялся дальнейшим промыслом, а дядя Кузя, хватая соседей за руки, с восторгом кричал:

— Вот это ко-от! Это громи-ило! Мне бы такого на ферму.

— Так возьми, кто тебе не велит? Весь рынок из-за него горько плачет.

— Где ж такого поймаешь? — с уважением сказал дядя Кузя. — Он небось столько бит, что людей пуще огня боится.

Но все же дядя Кузя отыскал на рынке мальчишек и пообещал им рубль за доставку кота.

Через полчаса мальчишки принесли дяде Кузе базарного пирата и, показывая исцарапанные в кровь руки, потребовали:

— Добавляй, дедушка, еще монетку, чать, пострадали.

Дядя Кузя добавил монетку — двадцать копеек.

Так бездомный кот очутился на ферме и получил с легкой руки дяди Кузи грозное имя — Громило.

Коту на птицеферме понравилось. Он огляделся, для зачина стянул со стола кусок сала, умял его тайком и завалился спать в бочку с овсом.

Дядя Кузя за сало кота не ругал, не наказывал. Он выслуживался перед этим бездомным бродягой, старался размягчить его ожесточенную душу лаской и заботой. Он даже попытался погладить кота, но тот всадил когти в руку старика. Дядя Кузя стерпел и это. Он готов был пойти на любые унижения и муки ради того, чтобы кот прижился на ферме.

Выспавшись, Громило полакал воды, зевнул и вдруг мгновенно преобразился. Хвост его начал бесшумно перекладываться из стороны в сторону, как руль. Шея укоротилась. Он сжался, напружинился и сделал неожиданный бросок в угол, к бочкам. Раздался писк, и через минуту

Громило появился с мышью в зубах.

Глаза его горели беспощадным зеленым огнем!

Нет, он не играл с пойманной мышью. Этому суровому бойцу не было известно, что в мире существуют развлечения. Зато Громило хорошо знал, что такое голод. Не успел он распорядиться добычей, как снова насторожился и снова сделал прыжок.

Дядя Кузя тихо ликовал:

— Все! Пропала банда! Кранты!

Утром дядя Кузя обнаружил возле печки кучу мышей. Были они всяких мастей и пород. Сам кот Громило с подозрительно раздувшимся животом дремал на плите, утомленный ночной работой.

Дядя Кузя не стал даже чай разогревать, чтобы не беспокоить охотника. Он схватил бутылку и бесшумно выскочил из птичника.

Через час старик вернулся из деревни с молоком. За это время все колхозники успели узнать, что в здешних краях появился кот Громило, который наведет порядок не только на ферме, но и во всей деревне.

Дядя Кузя налил в консервную банку молока и, когда кот проснулся, робко попросил:

— Попил бы молочишка на верхосытку.

Громило не заставил себя упрашивать, вы-

лакал все молоко и забрался в бочку с овсом — досыпать.

Ночью он снова промышлял.

Затихли визги под полом, прекратилась возня и беготня.

Крысы и мыши попали в осаду, воровали редко, жили в постоянном страхе, вскрикивали по ночам. Наверное, являлась им во сне светящаяся жуткими зелеными огнями морда кота Громилы.

Порою ходил Громило с дядей Кузей в птичник, где не совсем равнодушно поглядывал на кур.

Дядя Кузя однажды укорил кота:

— А что, брат, Милаху-то не берет твой зуб? Мышками да крысятами развлекаешься. Ты вот излови ее, анафему, тогда будешь соответствовать целиком и полностью своему имени.

Но враг ушел в подполье, не принимал открытого боя. Тогда дядя Кузя зацементировал все дыры в обеих половинах птичника и оставил всего одну, в кормокухне. Это значительно облегчило работу коту Громиле.

Милаха не показывалась. Но в том, что она жила и действовала, не было никакого сомнения. Иногда под полом возникала борьба и снова слышался резкий, как скрип пилы, голос старой

атаманши.

Громило уже знал этот голос. Он настораживался, шел к норе, шевелил хвостом и дежурил, дежурил. Иногда у норы поднимался визг, хрип, шум, и Громило оттаскивал к плите мертвую крысу.

Дядя Кузя бежал посмотреть, но это оказывались всего лишь «подчиненные» Милахи, которых она, видать, высылала на разведку.

Кот Громило отъелся настолько, что его можно было, хотя и под сомнением, пускать одного к курам. Дядя Кузя однажды закрыл кота в птичнике.

Среди ночи в той половине, где был оставлен Громило, поднялся переполох. Куры хлестали крыльями, петухи орали. Дядя Кузя сунул ноги в валенки и поспешил туда.

В полутемном углу птичника, под ящиками несушек, он обнаружил искусанного, окровавленного кота Громилу. Кот старательно зализывал раны. Поодаль от него валялась с растерзанной головой Милаха.

Громило даже не глядел на нее.

Дядя Кузя склонился над израненным котом. Не решаясь погладить или приласкать его, старик лишь словами выражал свое восхищение:

— Громилушко! Воин ты великий! Изничтожил ты гада-вредителя!.. Тыщи ты колхозные спас, и полагается тебе за это большая премия в виде молока и рыбы. Дают же премии пограничным собакам за верную службу? Дают. Так вот и для тебя я стребую. Если не стребую, значит, я не старый красный партизан, и пусть меня тогда прогонят с должности заведующего фермой в шею.

Премию Громило получил. Слух о героическом коте облетел все окрестные деревни. Люди приходили дивиться на кота Громилу, целым классом прибывали школьники. Учитель написал о коте Громиле поэму, но ее забраковали в районной газете, ответили, что газета отражает героические дела людей, а не животных. Из-за этого районная газета потеряла еще одного читателя: дядя Кузя перестал подписываться на нее.

Зачем я убил коростеля?

Это было давно, лет, может, сорок назад. Ранней осенью я возвращался с рыбалки по скошенному лугу и возле небольшой, за лето высохшей бочажины, поросшей тальником, увидел птицу.

Она услышала меня, присела в скошенной щетинке осоки, притаилась, но глаз мой чувствовала, пугалась его и вдруг бросилась бежать, неуклюже заваливаясь набок.

От мальчишки, как от гончей собаки, не надо убегать — непременно бросится он в погоню, разожжется в нем дикий азарт. Берегись тогда живая душа!

Я догнал птицу в борозде и, слепой от погони, охотничьей страсти, захлестал ее сырым удилищем.

Я взял в руку птицу с завядшим, вроде бы бескостным тельцем. Глаза ее были прищемлены мертвыми, бесцветными веками, шейка, будто прихваченный морозом лист, болталась. Перо на птице было желтовато, со ржавинкой по бокам, а спина словно бы темноватыми гнилушками посыпана.

Я узнал птицу — это был коростель. Дергач по-

нашему. Все его друзья-дергачи покинули наши места, отправились в теплые края — зимовать. А этот уйти не смог. У него не было одной лапки — в сенокос он попал под литовку. Вот потому-то он и бежал от меня так неуклюже, потому я и догнал его.

И худое, почти невесомое тельце птицы ли, нехитрая ли окраска, а может, и то, что без ноги была она, но до того мне сделалось жалко ее, что стал я руками выгребать ямку в борозде и хоронить так просто, сдуру загубленную живность.

Я вырос в семье охотника и сам потом сделался охотником, но никогда не стрелял без надобности. С нетерпением и виной, уже закоренелой, каждое лето жду я домой, в русские края, коростелей.

Уже черемуха отцвела, купава осыпалась, чемерица по четвертому листу пустила, трава в стебель двинулась, ромашки по угорам сыпанули и соловьи на последнем издыхе допевают песни.

Но чего-то не хватает еще раннему лету, чего-то недостает ему, чем-то недооформилось оно, что ли.

И вот однажды, в росное утро, за речкой, в лугах, покрытых еще молодой травой, послышался скрип коростеля. Явился, бродяга! Добрался-таки!

Дергает-скрипит! Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро, значит, все в порядке.

И всякий год вот так. Томлюсь и жду я коростеля, внушаю себе, что это тот давний дергач каким-то чудом уцелел и подает мне голос, прощая того несмышленого, азартного парнишку.

Теперь я знаю, как трудна жизнь коростеля, как далеко ему добираться к нам, чтобы известить Россию о зачавшемся лете.

Зимует коростель в Африке и уже в апреле покидает ее, торопится туда, «…где зори маковые вянут, как жар забытого костра, где в голубом рассвете тонут зеленокудрые леса, где луг еще косой не тронут, где васильковые глаза…». Идет, чтобы свить гнездо и вывести потомство, выкормить его и поскорее унести ноги от гибельной зимы.

Не приспособленная к полету, но быстрая на бегу, птица эта вынуждена два раза в году перелетать Средиземное море. Много тысяч коростелей гибнет в пути и особенно при перелете через море.

Как идет коростель, где, какими путями — мало кто знает. Лишь один город попадает на пути этих птиц — небольшой древний город на юге Франции. На гербе города изображен коростель. В те дни, когда идут коростели по городу, здесь

никто не работает. Все люди справляют праздник и пекут из теста фигурки этой птицы, как у нас, на Руси, пекут жаворонков к их прилету.

Птица коростель во французском старинном городе считается священной, и если бы я жил там в давние годы, меня приговорили бы к смерти.

Но я живу далеко от Франции. Много уже лет живу и всякого навидался. Был на войне, в людей стрелял, и они в меня стреляли.

Но отчего же, почему же, как заслышу я скрип коростеля за речкой, дрогнет мое сердце и снова навалится на меня одно застарелое мучение: зачем я убил коростеля? Зачем?